

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 10

1989



Александр КАНЕВСКИЙ

**ТЭЗА
С НАШЕГО ДВОРА**

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 10

Издается с января 1925 года

Александр КАНЕВСКИЙ

ТЭЗА С НАШЕГО ДВОРА

ПОВЕСТЬ

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1989

Александр КАНЕВСКИЙ

Каневский Александр Семенович родился в городе Киеве в 1933 году. Окончил Киевский автодорожный институт. Работал инженером в Казахстане. С 1955 года занимается профессиональной литературной деятельностью. За эти годы вышло десять сборников его рассказов, написано много пьес и киносценариев. Его рассказы постоянно публикуются в центральных газетах и журналах, переводятся за рубежом. Каневский — лауреат Международного конкурса писателей-сатириков «Алеко».

«Тэза с нашего двора» — первая повесть писателя.

ТЭЗА С НАШЕГО ДВОРА

Моряк возвратился первым. Это он научил бабу Маню кричать «Полундра!». Маня с утра до вечера сидела на улице у подъезда на высокой табуретке и парила ноги в тазике, подливая в него кипяток из большого чайника. Она беседовала со своей подругой, которая таким же способом размягчала подагру на другой стороне улицы. Они вели диалог, перекрикиваясь через проезжую часть. Моряк говорил Мане, что в этой позе она похожа на морского наблюдателя, и, заглядывая в тазик, интересовался:

— Не штормит?

Баба Маня была врожденным наблюдателем. Разговаривая, она никогда не теряла бдительности и всегда первой замечала очередного демобилизованного, выныривала из тазика, оставляя мокрые следы, торопливо шлепала по асфальту босыми распаренными ногами, похожими на опухшие лапы. Пыхтя, врывалась во двор и сотрясала стены громоподобным воплем: «Полундра!». У Мани был шалыпинский бас, казалось, что она состоит из одного горла. Но это было не так: у нее был еще нос, большой, любопытный, который она всовывала во все дворовые секреты.

Как только раздавался Манин вопль, во дворе все замирали в нетерпеливом ожидании: кто? Во всех окнах появлялись лица, в основном женские, перекошенные от волнения, — каждая ждала своего: мужа, сына, отца... Когда бывший солдат появлялся во дворе и его узнавали, раздавался восторженный хор радостных приветствий, но, по установившемуся ритуалу, никто не подходил, все ждали, когда из парадного выбежит женщина — жена, или мать, или дочь — и бросится ему на шею. И только после этого вокруг прибывшего сжималось кольцо соседей, женщины, смеясь и всхлипывая, обнимали его, мужчины с размаху хлопали по плечам. Одного такого удара было бы достаточно, чтобы вызвать небольшое землетрясение в Японии, но здесь, в нашем дворе, так проявляли искреннюю радость, и солдат улыбался, незаметно потирая опухшие плечи. Это было счастливое лето возвращения фронтовиков, своего рода компенсация за тяжкие годы тоски, тревоги и ожидания,

счастливое для тех, кто вновь увидел друг друга, и нестерпимо горькое для недождавшихся.

Нашему двору повезло, все мужчины вернулись; кто поседел, кто прихрамывал, кто был еще в гипсе, — но живые и охмелевшие от жизни. Только Тэзин муж Леша все еще не возвращался, и от него не было никаких известий.

Тереза, или, как ее называли, Тэза, была любимицей двора: статная, длинноногая, с красивым смуглым лицом и с роскошными черными волосами, которые не помещались ни под шляпкой, ни под косынкой, всегда развевались на ветру и жили своей самостоятельной жизнью. Тэза играла с мальчишками в цурки-палки, учила девчонок подбрасывать на веревке металлическую катушку (эта игра называлась волнующим словом «дыболо»), таскала воду всем одиноким старичкам и старушкам, легко взлетая с полными ведрами на четвертый этаж; лихо отплясывала гопак, лезгинку и фрейлэхс... Мы, пацаны, тихо обожали ее, ребята постарше вздыхали по ней бессонными ночами, а взрослые мужчины оставались и долго смотрели ей вслед. И не только смотрели — некоторые пытались познакомиться, поухаживать, сделать подарки. Но она так отшвартовывала этих ухажеров, что они готовы были провалиться сквозь землю и, наверное, провалялись, потому что мы их больше никогда в нашем дворе не видели. У Тэзы был такой острый язык, что, если бы она два раза лизнула кактус, он был бы побрит наголо.

До войны Тэза и Леша работали в цирке, подбрасывали ногами разные предметы: шары, кубы, цилиндры, перекидывая их друг другу. Этот номер назывался «антипод» и пользовался успехом. Леша был старше Тэзы, когда женился на ней, ему уже перевалило за тридцать, а Тэза только подбиралась к двадцати. Они познакомились летом и летом же поженились. Их любовь была яркой и жаркой, как июльское одесское солнце. Через год после свадьбы родилась девочка Маринка, которую они возили с собой на гастроли. Девочка росла за кулисами, среди клоунов, акробатов и дрессированных лошадей. Родители уже стали потихоньку приобщать ее к своей профессии, но тут на их семейное счастье свалилась война. Леша ушел добровольцем, а Тэза с дочкой и бабой Маней были эвакуированы, жили в Сибири, в Татарии, на Кавказе, все ближе и ближе подбираясь к Одессе. Когда город освободили, они сразу возвратились домой. В цирке формировались бригады, Тэзе предложили выступать самостоятельно, но она отказалась до Лешиного возвращения. А пока работала ассистенткой у иллюзиониста, в свободные часы бегала на толкучку и на сэкономленный хлеб выменивала яркие шары и цилиндры — готовила реквизит для будущего выступления.

А Леша не писал и не возвращался. Первые месяцы соседки участливо спрашивали у Тэзы, нет ли от него известий, а потом перестали и, только глядя ей вслед, вздыхали сочувственно. И вот однажды...

В теплое октябрьское воскресенье двор был заполнен: курили, беседовали, развешивали белье, вытряхивали коврики. Баба Маня, сидевшая

на своем наблюдательном пункте, вбежала во двор, точнее, влетела, взмахивая ногами-ластами, открыла рот, хотела закричать, но, запыхавшись, не успела. Во двор вкатился Леша на маленькой деревянной тележке, руками отталкиваясь от тротуара. У него не было обеих ног, они были отрезаны до колен, одинаково, симметрично, как будто он аккуратно положил их на рельсы и по ним проехал трамвай, трамвай войны. Все обомлели и замерли. Никто не знал, как себя вести, что говорить. Кто-то пытался улыбнуться, но вымученная улыбка превращалась в гримасу. Люди молча расступались, давая ему дорогу. Сделав приветственный жест, Леша подъехал к своему парадному, привычно отжавшись на руках, запрыгнул на крыльцо и скрылся внутри. Несколько секунд слышался звон колесиков о ступеньки, потом он затих, и донесся стук в дверь, за которой сейчас находилась Тэза. И тут без призыва, без сигнала, по какому-то общему порыву все исчезли, двор опустел, раскрытые окна захлопнулись. Наступило ожидание, тревожное и сжатое, как пружина затвора перед выстрелом. Прошло пять минут, десять, пятнадцать. Двор был тих и безлюден, окна задраены, как перед штормом. Но из-за каждой занавески, из-за каждой шторки за входом в парадное следили десятки глаз. Наконец раздался общий коллективный вздох облегчения, и как будто от выдохнутого воздуха все окна распахнулись. Из подъезда вышла Тэза в своем самом нарядном платье, с красной лентой в непокорных волосах. И вышел Леша, уже умытый, причесанный, переодетый в новую рубашку с блестками, которую она выменяла на толкучке для его будущих выступлений.

Довоенный Леша был очень высок, несмотря на свою длинноногость, Тэза доставала ему только до плеча. Теперь было наоборот: укороченный Леша стал на голову ее ниже. Но Тэза как будто этого и не заметила: она шла счастливая, гордая, с высоко поднятой головой, держась за Лешу, как за свою самую дорогую добычу, а ее волосы победно развевались на ветру, как черный пиратский флаг. И двор сразу наполнился, зашумел, закипел. Лешу обнимали, целовали, хлопали по плечу, конечно, более сдержанно, чем обычно. И почему-то на этот раз обнимали и целовали Тэзу не меньше, чем Лешу, а если по правде, то даже чутьчку больше.

Так началась новая жизнь Леши и Тэзы. Леша стал сапожничать. Сперва он чинил обувь только соседям, но постепенно клиентура расширилась, к нему потянулись со всей улицы. Он сидел в комнате у открытого окна, на подоконнике были разложены инструменты, гвозди, куски кожи. Клиенты подходили к окну, сдавали рваную обувь, получали починенную, угощали мастера папиросами, курили, шутили, беседовали.

Тэза по возвращении Леши сразу ушла из цирка и устроилась в театральной кассе распространительницей билетов. С утра до вечера она бегала по учреждениям, расхваливала местных артистов, уговаривала покупать билеты, звывала к одесскому патриотизму. Когда же ожидался гастролеры, но об их приезде еще никому не было известно, Тэза по се-

крету сообщала эту новость бабе Мане, и через минуту об этом знал весь двор. У Тэзиного окна выстраивалась очередь. Леша отодвигал в сторону инструменты, освобождал часть подоконника. Тэза раскладывала там пачки билетов, садилась рядом, и они работали бок о бок: он стучал молотком, она звенела ножницами.

В цирке они с тех пор ни разу не были. И не вспоминали о нем, во всяком случае, вслух. Жили они в маленькой трехкомнатной квартире, занимали просторную светлую комнату, но проходную. К ней примыкали две комнатухи. В одной жил Лешин старший брат, Жора, в другой — баба Маня. Леша называл ее главным звонарем их семейства: отец бабы Мани, часовщик, оставил в наследство дочери с десятков часов, стенных и настольных. Все они были с боем, звонили каждые полчаса. Но поскольку показывали разное время, то звон стоял беспрерывный. С утра Маня покидала свою музыкальную шкатулку, садилась перед домом, парила ноги в тазике и шалыпинским басом поругивала проезжающие машины, которые мешали ей перекрикиваться с собеседницей напротив.

— Это ноги, чтоб они сгорели!.. Они мене так крутят, так крутят! — жаловалась она зятю.

— Не надо было ходить с Мойсеем через море, — отшучивался Леша, постукивая молотком. Но через пару дней вручал ей «тигровую мазь», добытую у своих клиентов-медиков, от которой баба Маня будет бегать, «как хищница».

Свободное от тазика время Маня проводила в туалете, откуда ее было очень трудно выдворить, хотя Леша крупно написал на двери туалета: «Регламент!» На кухню она выбегала в сиреневых трико до колен и в синей мужской футболке, как объясняла окружающим, «по-домашнему». Травмированный этим видом, Леша купил и подарил ей красные французские рейтузы. Рейтузы Мане очень понравились, она натянула их на трико и гордо расхаживала по квартире. Леша говорил, что в этих красных рейтузах баба Маня может шагать впереди первомайской демонстрации вместо флага.

Сперва в нашем дворе стоял мусорный ящик, большой, как особняк. Потом его разломали, а мусор стали выбрасывать в специальную машину, которая к концу дня подъезжала к дому, шофер звонил в колокольчик, давая знать о своем прибытии, и к машине тянулась цепочка женщин с мусорными ведрами. Баба Маня с ведром наготове уже полдня напряженно поджидала мусоросборник, как охотник поджидает добычу: дитя очередей, она и здесь хотела быть первой. Сразу после обеда начинала интересоваться:

— Смиттё не звонило?

Однажды она перепутала: у дома остановился автобус, и шофер поднял крышку капота, чтобы проверить работу двигателя. Раскрытый капот напоминал пасть мусоросборника, и Маня, подбежав, вытряхнула туда содержимое мусорного ведра. Онемевшему от этой наглости води-

телю спокойно объяснила: «Так надо» и ушла, счастливая, что опять была первой. Шофер еще долго не мог прийти в себя, а двигатель обиженно отплевывался картофельными очистками и шелухой от яиц.

Наш двор жил, как большая многонациональная семья. В те времена соседей никогда не интересовало, кто есть кто... Да и, честно говоря, определить это было трудно: певучие голоса, подогретые темпераменты, активная жестикуляция, ироничность, общительность — эти общие качества группировали всех обитателей нашего двора в единую национальность — одесситы. А жили там, кроме русских и украинцев, молдаване, евреи, армяне, турки, болгары... Но это я узнал уже через много лет после тех событий, которые потрясли и всколыхнули наш двор, когда вдруг все стали активно интересоваться, у кого что записано в пятой графе паспорта... Но я забегаю вперед — об этом позже, позже...

Прошло несколько лет. За эти годы Леша опять вырос: встал на протезы и довольно быстро научился ходить — сказала цирковая закуска. У него теперь была своя будка на углу улицы, он уходил туда с утра, весь день стучал молотком, а к вечеру возвращался, частенько пошатываясь.

— Зачем ты пьешь?! — чехостила его теща. — Марина, неси сейчас — сейчас будет кровь на стенах!

Леша слушал ее и улыбался, не выражая ни страха, ни раскаянья.

Тэза знала, почему он стал попивать: напротив его будки установили большой щит цирковой рекламы, на котором запестрели яркие афиши. Знала, но не подавала виду, что знает, и тоже боролась с его слабостью.

— Если не перестанешь пить, я уйду от тебя.

— Если будешь уходить, возьми меня с собой, — отвечал Леша, погружая ладонь в ее уже начинающую сесть, но по-прежнему пышную гриву.

— Показательные молодожены! — дразнил их Лешин брат Жора.

Жора работал в торговле. Всю жизнь занимался какими-то махинациями, перманентно находился под следствием, сидел в тюрьме, выходил и снова заведовал каким-либо магазином или столовой.

— Зачем ты в своей комнате поставил на окно решётку?

— Чтоб не отвыкать.

— Ты же когда-нибудь сядешь навсегда, — урезонивал его Леша. — Неужели не можешь жить честно?

— Не могу, мне нужно много денег.

— Зачем?

— На черный день.

— Ты собираешься жениться на негритянке?

Вопрос был не случаен: Жора обожал жениться, устраивал пышные свадьбы, праздновал рождение каждого очередного ребенка, затем разочаровывался, разводился, снова влюблялся и снова гудел на свадьбе.

Подосланные мамами табуны его детей толпились под его окном, требуя алиментов. Скрываться от них Жоре удавалось только в тюрьме.

Перед каждой новой женитьбой Жора срочно приводил в порядок свою вставную челюсть, как будто собирался кусать новобрачную. Он бегал к соседу-стоматологу Невинных и требовал, чтобы тот «подровнял» ему зубы. Невинных втыкал Жоре в рот сверло своей портативной бор-машины и с грохотом орудовал там, как отбойным молотком в штреке. Увлечшись, он стачивал остатки Жориных зубов до самых десен и поспешно мастерил новую челюсть, беря дополнительную плату за срочность.

Жора стеснялся своих вставных зубов и в первую брачную ночь, ложась в постель и гася ночник, незаметно вынимал челюсть изо рта и прятал ее в свою туфлю. Однажды он перепутал — положил челюсть в туфлю новобрачной. Встав первой, та ее надела, и челюсть впиалась ей в ногу. Жена забилась в истерике, дрыгая ногой, пыталась стряхнуть зубы. Это выглядело так неэстетично, что Жора с ней немедленно развелся.

Жорина семейная жизнь состояла из вечных медовых месяцев, поэтому он был худым и синим, как петух-профессионал. Он любил толстых женщин. Каждая его последующая любовь перевешивала предыдущую килограммов на десять. Сейчас, опять будучи в разводе, он ухаживал за дамой из соседнего подъезда. Его новая пассия была солисткой филармонии, — Мэри Алая. Ее амплуа — «латино-армянские» песни, которые она исполняла на каком-то жутком южном языке, страстно покусывая микрофон. Вклад Мэри Алой в эстрадное искусство был очень весом: слыше центнера. Мэри постоянно сидела на какой-нибудь особой диете, отчего еще больше толстела.

— Это удивительная женщина, — млеял от восторга Жора. — Ничего не ест, а поправляется.

— Пусть срочно передаст свой опыт нашим животноводам, — с самым серьезным видом советовал Леша.

Жора погибал от страсти, но женитьба откладывалась: певица жила в одной комнате с папой и мамой, к ней перейти он не мог, а в его комнатушке она не помещалась.

— Найти бы Мариночке жениха с жилплощадью, тогда Леша и Тэ-за перешли бы в мою комнату, а мы с Мэрочкой жили бы в проходной, — строил маниловские планы Жора.

Но выдать Марину замуж было не так-то просто. Нескладная, угловатая, она не очень притягивала к себе мужские взгляды. В довершение всего у Марины был вечный, непроходящий насморк. Ей вырезали и гланды, и аденоиды, и часть носоглотки, но она все равно гундосила, будто в каждую ноздрю ей забили по пробке. Леша настоял, чтобы дочку учили музыке, — что это за одесский ребенок без скрипки! Но у Марины не было ни слуха, ни голоса, поэтому в музыкальные ее ни за что не принимали. С большим трудом, за большие деньги удалось уговорить

соседа Грабовского давать частные уроки. Грабовский играл в оркестре театра оперетты, откуда его периодически выгоняли за пьянство... Он был поляк, поэтому во дворе его величали «мусью». После первого же занятия с Мариной этот отчаянный шляхтич немедленно ринулся в запой.

Будет неправдой утверждать, что Марина не имела никаких талантов, у нее была одна, но пламенная страсть — она обожала стирать. Стирала все, что попадало под руку: трусы, платья, костюмы, фуражки. Однажды, под Новый год, постирала свое зимнее пальто, которое сохло весь январь. Потом она прокипятит Тэзину сумку с деньгами, полученными за проданные билеты. Тэза весь день сушила рубли, пятерки и десятки, разглаживая их утюгом. Но, поскольку Марина добавила в кипяток синьку, купюры приобрели цвет утопленников, и стало рискованно сдавать деньги в кассу: их могли принять за иностранную валюту. С тех пор Тэза, ложась спать, прятала все свои вещи под подушку, иначе Марина их находила и стирала. И еще она любила выметать из комнаты мусор, а поскольку мусором считала все, что не было заперто от нее, то выметала и выбрасывала расчески, тапочки, футляры от очков...

Чтобы дать выход своей очистительной энергии, Марина по воскресеньям делала обход всех одиноких старичков и старушек. И там уже, на радость хозяевам, отводила душу: стирала, драила, кипятила... Она была заботливой девочкой, и соседи ее любили.

Однажды утром позвонил Жора и взволнованно сообщил Тэзе:

— Я забыл свою вставную челюсть. Немедленно принеси мне ее: у меня инспектор ОБХСС, я должен с ним завтракать!

Тэза безуспешно обыскала всю его комнату, потом спросила у дочери:

— Ты не видела дядину челюсть?

— Бде встгетились какие-то пготивные зубы — я их выбгосила.

— Куда? — в ужасе спросила Тэза.

— В мусогное ведро.

К счастью, «смитгё» еще не звонило, и баба Маня не успела вынести мусор, поэтому содержимое ведра высыпали на кухонный пол, рассортировали, обнаружили Жорину челюсть, вцепившуюся в огрызок огурца, почистили, обдали кипятком и отнесли Жоре — завтрак с инспектором состоялся.

Леша обожал свое единственное дитя, она ему платила взаимностью: часами просиживала у него в будке, чистила отремонтированную обувь, наводя на нее марафет... По вечерам они вместе кормили бродячих собак, которых Марина таскала в дом и расчесывала им свалявшуюся шерсть.

В нашем доме обожали животных. В каждой квартире жила или собака, или кошка, или канарейка. По утрам дети выносили во двор черепашки, хомячков, морских свинок, чтобы они погрелись на солнышке.

Все бездомные собаки находили в нашем доме пристанище, все бременные кошки всего города считали наш двор своим родильным домом. Кошки рожали по два-три раза в год, размножались с космической скоростью, и через несколько лет пришлось регулировать их рождаемость: новорожденных котят топили, оставляя кошке-маме одного котенка для утешения. Топила Галка-дебилка, уборщица из соседнего двора, которая брала «рупь за утоп». Ее презирали, но платили, потому что найти другого «утописта» не удавалось. По субботам Галка еще подрабатывала: ходила обмывать покойников. Соседки, опасаясь, что она «притащит какую-нибудь заразу», собирались этому воспрепятствовать, но Моряк их остановил:

— Скажите спасибо, что она еще не берет эту работу на дом!

Уже много лет во дворе жила добрая и умная дворняга Булочка, для которой в углу двора положили пласт войлока и соорудили над ним маленький навесик. Там же стояли две миски — персональная посуда Булочки. Ежедневно соседки подливали в эти миски молоко, подкладывали еду, подбрасывали лакомства. У Булочки был постоянный приходящий муж из соседнего двора — пес Шмурдяк. Супруги жили в согласии, никогда не облаивали друг друга, вместе гуляли, вместе выхаживали свое потомство. Булочка была серебристо-бежевого цвета, Шмурдяк — жгучий брюнет. Дети у них получались двухцветно-контрастными, в пятнах или в полоску, как леопарды или как зебры, и их охотно разбирали жители нашей улицы. Существовал даже специальный список: кому — когда.

Однажды Булочка не могла разродиться, во дворе переживали, сочувствовали, но не знали, как помочь. По поручению соседей баба Маня побежала к профессору-гинекологу Глинкину, который жил напротив нашего дома. Был уже поздний вечер, недовольный Глинка вышел в пижаме со стаканом чая в руке.

— Она так мучается! — взмолилась баба Маня. — Помогите ей родить!

— Я не акушер, — раздраженно ответил Глинка. — И потом, вы же видите: я пью чай.

— Профессор, вы уже ничего не пьете! — сказала баба Маня и всунула два своих пальца ему в стакан.

Возмущенный этой наглостью, Глинка закричал:

— Убирайтесь вон! Я никуда не пойду!

— Если вы не пойдете, я сейчас тут лягу и буду лежать всю жизнь, — спокойно сообщила Маня и начала медленно сгибать колени.

Перспектива всю жизнь видеть в своей передней лежащую бабу Маню потрясла Глинкина, и он согласился. Роды прошли благополучно, и щенки так понравились профессору, что он потребовал и себе одного.

Леша решил дать дочери какую-нибудь профессию, мечтал поскорее выдать ее замуж. Все удивлялись, почему он так торопится, ведь Марина только что окончила школу.

— Пусть девочка попасется на травке, еще успеет запрячься в ярмо! — ворчала баба Маня.

Но Леша торопился не зря.

Однажды прибежал протрезвевший от испуга мусью Грабовский с криком:

— Там, в будке... ваш Леша онемел!

Тэза выронила из рук стакан и бросилась на улицу. Босая, полуодетая, она летела впереди своих волос, как большая, сильная птица на помощь своему птенцу. Но помочь ему уже было нельзя. Как потом выяснилось, все эти годы Леша жил с осколком в голове. Врачи не решались на операцию, предвидя смертельный исход. Да и Леша отказался: «Сколько суждено, столько суждено». Каждый год его вызывали в военкомат на комиссию, делали рентген, следили за продвижением осколка.

— Чего они тебя дергают? — удивлялась Тэза.

— Проверяют, не выросли ли у меня ноги, — отшучивался Леша, в уме подсчитывал оставшиеся дни и спешил, спешил «пристроить» свою единственную дочь. Сейчас произошло то, что должно было произойти: осколок перерезал какой-то важный сосуд, случилось что-то вроде инсульта: Лешу парализовало, и он потерял речь.

— Остались считанные дни, — предупредил врач.

Об этом знал весь двор. Леша сидел в кресле у окна, на том же месте, где когда-то сапожничал, а у подоконника, как и тогда, толпились соседи, курили, шутили, развлекали. Только теперь вместо рваной обуви каждый приносил какое-нибудь лакомство и оставлял на подоконнике: дыню, персики, вареного цыпленка, фаршированную рыбу... Лешино окно напоминало витрину богатого гастронома с широким ассортиментом продуктов.

По вечерам, когда они оставались одни, Тэза садилась у его ног, клала ему голову на колени, брала его безжизненную ладонь и погружала в свои волосы. Так они подолгу сидели, молча прощаясь, и на Лешинем лице появлялось какое-то подобие счастливой улыбки.

— Вам не кажется, что он что-то хочет, а мы не понимаем? — тревожился Жора.

Баба Маня уже не парила ноги на тротуаре — она часами дежурила возле Лешы и ежесекундно вливала в него «витамины», по-своему трактуя его невысказанные желания.

— Он хочет клюквенный морс, это не морс, а здоровье, Рокфеллер мечтает о таком морсе! — и осторожно вливала в Лешин пересохший рот очередную порцию «витаминов».

— Я знаю, чего он хочет, — сказала Тэза.

В шесть вечера к дому подъехало такси. Умытого и нарядного Лешу вынесли на улицу и усадили в машину. Кроме Тэзы, с ним поехали Жора и Моряк, чтобы транспортировать его обратно.

Они подкатили к нарядно освещенному зданию цирка, где сегодня должна была состояться премьера нового представления. В нем участво-

вали известные цирковые артисты, которые начинали вместе с Лешей, хорошо знали и помнили его. Тэза предупредила и их, и дирекцию — Лешу уже ждали. Два униформиста вынесли ему стул, и на этом стуле Лешу внесли и усадили в первом ряду, а для его спутников были забронированы места рядом. Перед началом пролога шпрыхшталмейстер, торжественный и важный, как министр иностранных дел, объявил:

— Это представление его участники посвящают своему коллеге и другу, великолепному артисту цирка Алексею Москалеву, который сейчас находится здесь!

Зрители аплодировали, оркестр грянул марш, и на манеж высыпали акробаты, жонглеры, иллюзионисты... Началось традиционное шари-вари, артисты протанцовывали мимо Лешы, приветствовали его и исполняли фрагменты из своих номеров. Леша сидел, как на трибуне, и принимал этот яркий и красочный парад. Он не улыбался, улыбаться он уже не мог, но из глаз его катились счастливые и благодарные слезы, первые слезы, которые Тэза увидела на щеках своего мужа.

Через два дня Леша умер.

Гроб стоял на столе. Леша лежал, накрытый простыней, опять укороченный, как подросток, как будто вернулся в детство. Баба Маня остановила все часы, звон прекратился, в квартире стало непривычно тихо. Пахло «Шипром»: Леша любил этот одеколон, всегда душился им, поэтому Тэза влила ему в гроб содержимое оставшегося флакона, — запах «Шипра» стал запахом смерти. Соседи входили на носках, клали цветы у гроба, женщины всхлипывали, мужчины сжимали зубы, в углу тихо плакал Жора.

— Ой, Лешенька! Ой, зятечек!.. — стенала баба Маня.

Только Тэза была спокойной. Она стояла у изголовья, одной рукой обнимая рыдающую Марину, другой — держась за гроб, молча, с сухими глазами, только поседевшие за эту ночь волосы вдруг утратили свою непокорность и безжизненно повисли над гробом белым флагом капитуляции...

Лешу похоронили на старом кладбище рядом с Тезиным отцом — баба Маня уступила ему свое место. Над разрытой могилой Мэри Алая спела любимую песню Лешы:

— Эх, загулял, загулял, загулял
Парень молодой, молодой...

Моряк выстрелил из старой фронтовой ракетницы — ракета взлетела, рассыпалась и растворилась в необъятном пространстве, как Лешина короткая жизнь.

Неделю после похорон Тэза не работала: с утра уезжала на кладбище, проводила там весь день и только поздно вечером возвращалась. Видели, как она сидит на скамеечке у Лешиной могилы и говорит, говорит, даже жестикулирует, беседуя с безответным мужем. Соседки рас-

пределили между собой еще не проданные ею билеты и сами распространяли их в своих организациях.

Однажды, вернувшись с кладбища, Тэза заявила Жоре и бабе Мане:

— Леша просил выполнить его волю: он мечтал выдать Мариночку замуж — я ее выдам.

— Давай составим список женихов, — сразу по-деловому предложил Жора, принес незаполненный заказ-наряд и стал записывать туда подходящие кандидатуры, как будто собирался их получить на складе.

Первым в этот список Жора вписал Федю Мефиля. Мефиль был родом из пригородного села, в Одессу переехал в начале пятидесятых годов — это было время, когда колхозники, как молодой Ломоносов, бежали из села в город. На время учебы в ПТУ поселился в нашем дворе у своей старой тетки. Тетка умерла — остался в ее комнате. У него было птичье лицо с перебитым носом, он напоминал курносого беркута. Волосы торчали, как перья. Когда отпустил бороду, стал похож на Мефистофеля и получил прозвище — Мефиль. Говорил горячо, темпераментно, казалось, вот-вот выпит из брюк. Очень любил букву «ё» и употреблял ее вместо буквы «е», произнося: одёжда, шлём, новосёлё. Был весьма любопытен. Мог всю ночь просидеть у аквариума с рыбками, пытаясь увидеть, «когда же они, гады, спят»!

Мефиль хотел казаться потомственным горожанином, поэтому всегда носил шляпу и галстук. Галстук он повязывал даже на майку. По утрам непременно пил черный кофе, который ему был противен, поэтому заедал его борщом.

Работал он в телеателье, устанавливал антенны. Обязавшись канатом и зацепив его за какой-нибудь выступ, часами бродил по покатым крышам старых одесских зданий, балансируя расставленными руками, похожий на канатоходца и на привидение одновременно.

Однажды он сорвался с крыши шестиэтажного дома, пролетел до пятого этажа, повис на канате, оттолкнулся от стены и, точно прицелившись, с маху влетел в ближайшее открытое окно. У окна сидела интеллигентная старушка и читала Блока. Спикировав на подоконник, Мефиль вежливо поздоровался:

— Аллё, бабуля!

Старушка читать перестала. Когда ее отвезли в психбольницу, Мефиль спокойно вернулся на крышу и продолжал свою работу.

Он был трудолюбив, все свободное время проводил на маленьком садовом участке, где соорудил парник и выращивал огурцы.

— Эта страна — Клоднайк, — говорил он, снимая первый весенний урожай. — Пока завезут в магазины, можно стать миллионером.

Но разбогатеть ему не удалось, потому что до рынка его огурцы никогда не добирались: по субботам к нему приезжали друзья-односельчане, привозили бутылки самогона. Мефиль вываливал на стол корзину огурцов и ставил пачку соли — именно так, по его представлению, гуляли миллионёры...

Когда Жора произнес его имя, баба Маня скривилась:

— Ай, он — жлоб!

— Во-первых, вы не правы: он выписывает «Мурзилку», — возразил Жора. — А во-вторых, если вы надеетесь выдать Марину за академика Капицу, то я вас должен огорчить: академик уже женат. А Мефиль, между прочим, может быть классным мужем. Я сидел в тюрьме с похожим парнем — это был прекрасный семьянин: каждый день писал жене письма, просил передачи.

Назавтра Жора пригласил Мефиля зайти вечером и настроить телевизор. Тэза отдала Марине свое единственное выходное платье: все свои платья Марина от волнения перестирала, и они были мокрыми. Баба Маня по такому случаю надела французские рейтузы. Жора поспешно учил племянницу завлекательно двигать бедрами. У Марины не получалось. Тогда Жора стал ей показывать, как это делается. Показывал до тех пор, пока не вывихнул себе таз.

Мефиль пришел сразу после работы. Он был в телогрейке и шляпе. Телогрейку снял, а шляпу оставил и просидел в ней весь вечер. К телевизору его не подпустили, заверив, что все само настроилось, а пригласили ужинать. Мефиль ел с аппетитом, говорил «мерси» и громко чавкал. Марину усадили с ним рядом.

— Я буду за ней ухаживать, — пообещал Мефиль и съел ее порцию.

За чаем Жора осторожно завел разговор о прелестях женитьбы, о том, как тяжело быть неженатым.

— Женитьба — это не проблема, — заявил Мефиль. — Проблема — найти верную подругу...

— А она, может быть, совсем рядом, — недвусмысленно ввернул Жора.

— ... и подстраховицу! — завершил свою фразу Мефиль.

— Кого, кого? — переспросила красноногая баба Маня.

— Подстраховицу. — повторил Мефиль. — Я, как женюсь, свою половину на крышу заберу. Будем вместе антенны ставить, десять рублей за штуку — это же Клоднайк!

Марина, вспомнив дядины уроки, резко крутанула бедром. Но с перепугу она это сделала сидя и сбила Мефиля со стула. Он упал вместе с горячим чаем и ошпарил себе ноги. Вечер явно удался. Но сватовство не состоялось: перспектива загнать дочь на крышу испугала Тэзу.

— Нет, так нет! — Жора вычеркнул Мефиля из списка. — Перейдем к следующему.

Следующим в Жорином списке стоял Ванечка-электрик из подвала.

Электриком Ванечка никогда не был, работал бухгалтером, но очень любил возиться со всякими приборами. Подбирал выброшенные приемники, утюги, электроплитки и реставрировал их по своим собственным схемам. Сразу после пробного включения его изделий в сеть во всем квартале немедленно гас свет, сгорали не только провода, но и столбы. Приходили электрики, приезжали аварийные машины. Ванеч-

ка неделями не выходил из своего подвала, спасаясь от возмездия. Он с детства избегал драк и скандалов — рос хилым и тщедушным ребенком. У него были такие тонкие ноги, что их можно было пинцетом переставлять. Ноги-спички часто ломались, и половину жизни Ванечка проводил в гипсе.

Жора, Тэза и баба Маня стали думать, как лучше свести Марину с женихом номер два. Помог случай: Ванечка сам «вышел» на нее.

Обожая электричество, он не мог себе представить, что кого-то оно может не интересовать. Сконструировав очередной агрегат, он хотел поделиться своей радостью с человечеством и приставал ко всем соседям, приглашая их прийти к нему и вместе полюбоваться.

Однажды Ванечка бросился к Марине:

— Хочешь посмотреть мой новый трансформатор? Красавец!.. Пойдем покажу.

Марина отказалась, не ведая, что Ванечка ей уже запланирован. Баба Маня, подслушав этот разговор, побежала к Тэзе:

— Ванечка пригласил ее к себе, хочет показать трансформатор! Как ты думаешь, это что-то приличное?

Тэза выскочила во двор и, перехватив Марину, громко, чтобы слышал Ванечка, удивилась:

— Ты не хочешь посмотреть трансформатор?.. Это же так интересно! — и сделала дочери незаметный знак, что идти надо.

Счастливый Ванечка увлек Марину в подвал. Тэза и баба Маня напряженно ожидали ее возвращения. Через пять минут Марина выскочила оттуда, плача и дергаясь.

— Что он с тобой сделал? — с надеждой спросила Тэза.

— Он угадил бедя током.

Вечером женщины советовались с Жорой: что бы это значило?

— Это намек на любовь, — авторитетно заявила баба Маня, — он не смог удержаться.

— Отступать нельзя! — решил Жора. — Она должна прийти к нему еще раз при свидетелях.

Но Ванечка уже заподозрил неладное. Когда, подталкиваемая Тэзой и бабой Маней, Марина спускалась к нему в подвал, он стремглав выскочил оттуда, споткнулся на лестнице, упал, сломал обе ноги и на полгода попал в больницу. Есть подозрение, что он это сделал специально.

Третьим в Жориним списке женихов стоял Моряк. Он был единственным, кого в нашем дворе величали не по имени, не по прозвищу, а по отчеству: Степаныч. Кряжистый, раскачанный, в тельняшке, натянута на мускулы, Моряк являлся неофициальным старостой двора. К нему шли и за советом, и за помощью — он утешал, мирил, помогал добиваться справедливости. Когда надо было с кем-нибудь идти в исполком, в райсобес или еще в какую-нибудь «инстанцию», он надевал свой иконостас из орденов и медалей и шел «пугать чиновников». Был фанатичным болельщиком футбола, заразил этой страстью всех пацанов нашего

квартала, водил нас на стадион, не пропуская ни одной игры одесских команд. Когда кому-нибудь из одесситов удавалось затолкнуть гол в ворота противников, Моряк поднимался в рост и гремел на весь стадион: — Проверьте у них паспорта!.. Проверьте паспорта — это же бразильцы!..

Всегда приветливый, любил подкрасться сзади к сидящей девушке или даме, бросал ей на колени несколько конфет, которые всегда имел при себе, и быстро удалялся с постоянной фразой:

— Остаюсь неизвестным.

Но никому из представительниц прекрасного пола предпочтения не отдавал, с каждой был одинаково предупредителен, и только. Баба Маня всегда ставила в пример Жоре «морально выдержанное» поведение Моряка, поэтому Жора его недолюбливал и в список вставил только по настоянию женщин. Но сватать его отказался. Баба Маня взяла это на себя: с прямолинейной откровенностью она предложила Моряку жениться на Марине — молодая женщина украсит жизнь одинокого морского волка. Моряк деликатно это предложение отклонил:

— Увы, я не могу жениться.

— Почему? — испугалась баба Маня. — Неужели вы ранены туда?

— Слава Нептуну, физически я не пострадал. Просто я никогда не смогу раздеться при женщине. — Моряк имел в виду свое истатуированное тело. — Даже я краснею, когда сам себя читаю перед зеркалом.

Из-за всеобщей грамотности Моряк никогда даже до пояса не раздевался, даже не закатывал рукава на тельняшке, оберегая окружающих от потрясения потоком информации, которую давали его рукопись, спинопись и грудопись.

Шло время. Жора сверху вычеркивал несостоявшихся женихов, снизу — дописывал новые кандидатуры. Через этот список прошли все холостые и разведенные мужчины нашего двора в возрасте от двадцати до пятидесяти лет. Семейный совет стал обсуждать даже тех, от кого раньше пренебрежительно отмахивался.

Дошла очередь и до братьев Кастропуло. Это были портные, которые шили, чинили и перелицовывали одежду всему кварталу. Когда они надевали на клиента сшитый ими костюм, то оба тут же просто теряли сознание от восторга. Если же заказчик робко заикался, что пиджак слишком короток, братья оскорбленно швыряли на пол ножницы и наперстки, синхронно били себя кулаками в грудь, потом с двух сторон прыгали на клиента, повисали на фалдах и тянули их вниз, пока пиджак не превращался во фрак.

Они были седыми и морщинистыми с детства. Кто из них младший брат, определить не удалось — оба были старшими. Они жили в коммунальной квартире, в маленькой комнатке, где помещались только шкаф и кровать, на которой оба спали «валетом». Жен не имели, питались всухомятку, в основном колбасой, отрезая от нее куски портняжными ножницами.

Тэза специально купила отрез крепдешина и повела Марину к этим древним грекам, чтобы они сшили ей выходное платье. Братья долго ругали материал, долго поносили Маринино телосложение и хором объясняли, как невозможно шить из такой ткани на такую фигуру. И они это доказали! Когда Марина примерила сшитое ими платье, ее талия немедленно переметнулась куда-то в район паха, а декольте выглядело из под мышки. Не очень привлекательная и в нормальных платьях, в этой хламиде Марина выглядела омерзительно, братьям было противно на нее смотреть, они с отвращением взяли деньги и немедленно выставили ее за дверь.

Тэза приходила в отчаяние. С крючка срывались даже третьесортные женихи, такие, как мусью Грабовский, который, борясь с пьянством у лучших наркологов, вшивал в себя ампулу и, стремясь к пьянству, у лучших хирургов вырезал ее. Пребывая в трезвости, он был мрачен и зол, ему было не до женитьбы. Будучи же пьяным, он был весел, игрив и готов был жениться на каждой, но только не дольше, чем на два-три часа.

Однажды тихая и послушная Марина взбунтовалась. Когда они с Тэзой остались вдвоем в комнате, она спросила:

— Почему ты хочешь от беды избавиться?

— Откуда ты это взяла? — с удивлением и обидой спросила Тэза.

— Зачем ты бедя водишь на случай?

Тэза растерялась.

— Папа так хотел, чтоб ты вышла замуж, вот я и...

Марина перебила:

— Папа хотел, чтоб я вышла по любви, а не по заказу-нагаду дяди Жоры. Если суждено погубить, значит, у бедя будет семья. Если нет, буду жить с тобой до стагости.

— Моя старость придет раньше твоей. А когда меня не будет, с кем ты останешься?

— Не говори так, — попросила Марина. — Когда я вдруг подубаю, что ты когда-нибудь умгешь — бде так стагшно, так стагшно! — Она уткнулась Тэзе в плечо и заплакала.

— Хорошо, я буду жить вечно, — пообещала Тэза, успокаивая ее.

На этом эпосе с принудительным сватовством закончилась.

— В наше время трудно выйти замуж, — утешала Тэзу восьмидесятилетняя Виктория Андреевна Гондю, которую по ее просьбе все называли Виточкой. — Даже мне это не удастся.

Виточка никогда не работала, всю жизнь прожила на иждивении у своих мужей, переходя от предыдущего к последующему. В промежутках у нее были многочисленные поклонники: известные писатели, артисты, музыканты и даже один французский дипломат. Но о нем она отзывалась пренебрежительно.

— Я приехала к нему в Москву, пришла в гостиницу — радость, поцелуи, шампанское. Вдруг он лезет на подоконник и закрывает форточ-

ку. «Зачем?» — спрашиваю. — «Дует. У меня может разыграться насморк». Больше я с ним не встречалась: что это за мужчина, который в моих объятиях тревожится о насморке?

Прикрытая мощными спинами, Виточка жила, не зная забот и огорчений, осыпаясь комплиментами, подарками, поцелуями, веселясь и радуясь.

— Я прожила красавицу жизнь, — с мечтательной улыбкой призналась она.

Худенькая, чистенькая, завитая, с подкрашенными губами, с наивно-радостными глазами, Виточка работала лифтершей в соседнем девятиэтажном доме. За всю жизнь это была ее первая работа, и она ей очень нравилась: в доме жило много одиноких стариков, и Виточка надеялась опять обрести семейное счастье. Кроме того, работа была посменной: сутки дежуришь — двое отдыхаешь, что давало ей возможность не прерывать занятия теннисом и ходить в бассейн. В предновогодние дни Виточка одевалась Снегурочкой, сидела в лифте и вручала всем жильцам поздравительные открытки, в которых желала счастья, здоровья и, главное, любви.

— Эта старая вертихвостка всех мужчин перепортила! — ворчала баба Маня. — Вот теперь и не найдешь порядочного жениха!

А годы шли. Марина подобралась к тридцати.

Каждую неделю, по субботам, Тэза ездила на кладбище, стояла у могилы мужа, плакала и оправдывалась перед ним за то, что не может выполнить его волю. И она, и баба Маня, и Жора, отчаявшись, уже не мечтали о женихе — пусть хоть просто ухажер, кавалер, даже любовник, — ведь девочке, по словам бабы Мани, «давно пора».

Более года на последние деньги Тэза снимала в соседнем дворе отдельную комнату для Марины, надеясь этим ускорить появление у дочери личной жизни, но ни один мужчина порога этой комнаты так и не переступил.

— Заплати деньги какому-нибудь солдату, — советовала баба Маня.

Жора ходил с племянницей гулять в парк, потом незаметно исчезал, оставляя ее одну, чтобы с ней кто-нибудь познакомился.

— Там темно, много хулиганов — девочку могут изнасиловать, — волновалась Тэза.

— Не с ее счастьем! — успокаивал Жора.

Время текло без изменений.

И вдруг два события всколыхнули двор.

Первое: исчез Шмурдяк. Беременная Булочка часами сидела у подъезда, выглядывала на улицу, но ее приходящий муж не приходил. Она несколько раз бегала в соседний двор, но и там его не было. Все соседи волновались вместе с Булочкой и сочувствовали ее переживаниям, дружно осуждая неверность Шмурдяка.

— Поволочился за молоденькой, — предположила баба Маня. — Кобель есть кобель!

— Все они такие! — подвела итог Мэри Алая, обиженная на Жору за длительное откладывание женитьбы.

Булочка родила, так и не дождавшись мужа, окруженная повышенной заботой обитателей нашего двора.

Вторым событием явилось сватовство Тарзана.

Тарзан жил в арке, которая соединяла наш дом с соседним. Арка высотой в несколько метров внутри имела комнату, кухоньку и туалет. Все, кроме дверей. Строители, закончив работы, разобрали леса, по которым взбирались вовнутрь, и арка осталась без входа и выхода. Но отважный новосел не растерялся — принес канат с крюком, броском зацепил крюк за карниз и по канату через окно залез в свою обитель. Вот тогда его и прозвали — Тарзан. Потом он соорудил веревочную лестницу и легко взбирался по ней, даже гостей водил. Месяца через три там пробили вход и соорудили металлическую лестницу с перилами.

Высокий, стройный, спортивный, Тарзан хорошо одевался: разноцветные свитера, импортные рубашки, золотой крестик на шее. Особую зависть у дворовых модниц вызывали его красивые меховые шапки, которые он менял два-три раза за зиму. Где он работал, чем занимался, никто не знал: Тарзан уходил от разговоров о своей деятельности, поэтому во дворе сделали вывод, что он служит в каком-то секретном учреждении.

— Так засекречен, что уже сам не знает, чем занимается, — объяснил Жора.

— Наверное, закончил строймех, — любуясь шапками Тарзана, предположила баба Маня: она всегда была убеждена, что строймех — это что-то, связанное с мехом.

Тарзан считался завидным женихом, и мамыши, имеющие взрослых дочерей, мечтали заполучить его в зятя. Поэтому, как удар грома, всех ошеломила весть, что Тарзан стал ухаживать за Мариной. А он явно проявлял к ней интерес: несколько раз водил в кино и дарил цветы.

— Он тебе нравится? — спросила Тэза у дочери.

— Очень, — призналась та.

Однажды Тарзан пригласил ее к себе послушать новые пластинки. На это свидание Марину снаряжала вся семья: Тэза подкрасила ей губы и ресницы, баба Маня вылила внучке за пазуху флакон своей любимой «Красной Москвы», а Жора надел племяннице на руку свои золотые часы «Победа». Те два часа, которые Марина провела в гостях у Тарзана, баба Маня простояла под аркой, напряженно вслушиваясь в происходящее наверху. Когда Марина вернулась, Жора спросил:

— Надеюсь, он к тебе приставал?

— Он бедя пальцем не тгонул, — грустно ответила Марина.

— Этот Тарзан либо джентльмен, либо импотент, — решил Жора.

Назавтра все прояснилось: Тарзан явился к ним в вечернем костюме, с цветами и шампанским. Явился без предупреждения. Баба Маня, которая, как всегда, сидела в туалете, выскочила на стук входной двери.

Но поскольку она там была, как всегда, в трико и футболке, Жора поспешно затолкал ее обратно. Пока Тэза здоровалась с гостем и провожала его в комнату, Жора спиной держал дверь, не давая Мане выйти, хотя она билась там, как пойманная птица, барабанила кулаками и кричала:

— Жора, я уже!

Тарзан сделал официальное предложение и попросил у Тэзы руки Марины. Счастливая Тэза расплакалась, а Жора обнял будущего родственника. Это происходило в Тэзиной комнате, поэтому баба Маня не могла попасть к себе, чтобы одеться. Будучи «по-домашнему», она, теперь уже сама, пряталась в туалете и оттуда кричала «Горько!».

Посидели, попили шампанское и обо всем договорились: расписываться — во Дворце бракосочетаний, свадьбу — в Жюриной столовой.

После ухода Тарзана семья пребывала в восторженной эйфории. Баба Маня, допивая оставленное ей шампанское, предвкушала радость увидеть Мариночку в свадебном платье.

— Она хоть и не сливка общества, но грязью в лицо не ударит!

— Это Леша за нее бога молил, — сказала Тэза.

Жора был счастлив вдвойне: Марина уйдет к Тарзану. Тэза переселится в его комнату, и он сможет, наконец, жениться на обожаемой Мэри!

Тихо, на кошачьих лапах, подкралась ночь — ее никто не заметил: почти до утра не спали, а говорили, обсуждали, планировали... Утром Тэза поехала на кладбище сообщить мужу радостную весть. Ошалевшая от счастья Марина устроила генеральную стирку: выварила все свои вещи, вплоть до чемодана, в котором хранилось ее приданое. Новость распространилась, двор гудел, баба Маня сидела во дворе на своем табурете и принимала поздравления. Женщины целовали Марину и желали счастья. Мужчины по-новому рассматривали ее, пытаясь разглядеть то, что привлекло к ней Тарзана. В основном все были искренне рады, скорее даже не за Марину, а за Тэзу. Понимая, что свадьба — это расходы, соседи раскупили у нее все билеты на все спектакли на месяц вперед, чтобы она получила прогрессивку.

Прошло несколько дней.

Уже были куплены обручальные кольца и после долгих споров, вычеркиваний и дописываний утвержден список приглашенных... Уже назначен был день свадьбы, уже шилось платье, уже были подсчитаны расходы... И вдруг...

Не помню, кто первый принес эту новость, кто ее проверял, но стала точно известна «засекреченная деятельность» Тарзана: он работал будничником, отлавливал бродячих собак и кошек. Половину четвероногих узников сдавал на ветеринарную станцию, а половину — отвозил на дачу к матери, где у них было налажено производство: животных убивали, сдирали шкуры, обрабатывали их и шили шапки на продажу. Все эти годы Тарзан занимался отловом в отдаленных районах города, поэтому

оставался неопознанным. Но теперь, очевидно, из-за недостатка сырья, рискнул приблизить свою деятельность и был узнан. Более того! Появились доказательства, что даже Булочкин муж Шмурдяк стал его жертвой.

Как в нашем дворе любили животных, я уже рассказывал. Поэтому попробуйте представить, какую реакцию вызвало это разоблачение. А впрочем, не надо пробовать — вам все равно не удастся даже наполовину нафантазировать то потрясение, возмущение, негодование, которое захлестнуло сердца обитателей нашего двора. Раздавленные этим открытием, Тэза и баба Маня полдня не выходили из квартиры. За это время на арке появилась надпись, сделанная белой масляной краской: «Тут живет фашист». К вечеру явилась делегация соседей.

— Мы решили выгнать этого живодера. Но мы не хотим гнать его через вашу голову, которую он вам задурил.

Тэза позвала Марину — ее не было. Кто-то видел, как она уехала с Тарзаном в кабине его автобудки — теперь, будучи разоблаченным, он уже не скрывал своей профессии.

— Зачем она ему? — тихо спросила Тэза. И ей объяснили: мама Тарзана состарилась и уже не может обрабатывать шкуры. Нужна молодая, сильная помощница. А Марина любит стирать, кипятить, вот он и решил, что она подходящая кандидатура.

Марина вернулась утром.

— Где ты была? — спросила Тэза, не сомкнувшая глаз всю ночь.

— Ночевала у него.

— Ты все про него знаешь?

— Да.

— Выбирай: или мы, или он.

— Я выбгала, — глядя в пол, твердо ответила Марина. Потом тихо добавила: — Бде сташно подумать, что я могу с ним гасстаться. Я оттавлиюсь.

— Посоветуюсь с папой. — И Тэза уехала на кладбище.

Вернувшись, она собрала всю семью и велела Марине привести жениха. Баба Маня на всякий случай принесла из кухни секач. Жора сидел за столом и нервно щелкал орехи, используя свою вставную челюсть, как своеобразные щипцы: вкладывал орех между зубами и ударял сверху кулаком.

Тарзан вошел как ни в чем не бывало, со своей фирменной обаятельной улыбкой.

— Ненормальный двор — они сломали лестницу, я опять поднимаюсь по канату.

— Мерзавец! — Баба Маня замахнулась на него секачом. — Сейчас будет кровь на стенах!..

— Будь моя воля, — спокойно сказала Тэза, — я бы расстреливала таких, как вы. Но моя дочь вас любит. Я посоветовалась с мужем, и мы решили: вы расписываетесь и убираетесь отсюда навсегда, оба. Марина

будет приходить, если захочет, а вас мы видеть не желаем. Никогда. Понятно?

— Я и сам тут не останусь — вчера подал на обмен. — Тарзан повернулся к Жоре. — Уже друзей позвал и родню, к вам в столовую. Можно, мы там отгуляем?

— А ты не хочешь, чтоб я тебя еще и грудью накормил? — спросил Жора.

Тарзан всплеснул руками.

— Из-за какого-то пса такой шухер! Да он через год сам бы издох от старости, а я только...

Закончить фразу он не успел: Жора запустил в него своей вставной челюстью. Чертыхаясь, Тарзан выскочил на улицу.

— Чего ты ждешь? — спросила Тэза у дочери. — Жена должна следить за мужем.

Марина с плачем выбежала вслед за Тарзаном.

— Бандитка! — крикнула баба Маня Тэзе. — Выгнать из дому родную дочь!

— Так велел Леша, — ответила Тэза, и больше это не обсуждали.

Через неделю Тарзан и Марина переезжали.

Тэза собрала дочери все ее вещи, помогла их упаковать, но провожать не вышла. Баба Маня повисла на внучке, обливая ее слезами.

— Вы газгываете бде сегце! — рыдала Марина.

Полуторка стояла под аркой, и Тарзан сверху швырял вещи в кузов: лестницу опять сломали. Соседи сперва решили ослепить шкуродера и забросать его гнилыми помидорами. Но с ним была Марина, и, щадя Тэзу, они отказались от «проводов». Двор был пуст. Только кроткая Булочка яростно облаивала и полуторку, и самого Тарзана, видно, звериным чутьем распознав в нем убийцу своего мужа.

Это было началом бед, свалившихся на семью. Через день арестовали Жору — возникло большое и шумное дело, ему грозило много лет тюрьмы. Он сидел в камере предварительного заключения, и Тэза раз в неделю носила ему передачи. Марина первые месяцы после свадьбы прибегала по субботам, но ее визиты становились все реже и реже. А осенью свалилась баба Маня: скорая помощь, уколы, больница и диагноз, страшный и окончательный: рак желудка.

— Похоронишь меня в рейтузах — я хочу выглядеть прилично, — попросила Маня.

Но через несколько дней полегчало, и ее выписали из больницы.

— Еще поживет, — обнадежил врач.

Вечером пришла Марина, нарядная, завитая, накрашенная. Принесла подарки: конфеты, «Красную Москву».

— Чего это вдруг? — удивилась Тэза.

— Бы едем.

— Куда?

— Я через сигадогу получила вызов в Изгаиль. Бы уже подали доку-
менты.

Новость оглушила. Даже баба Маня задохнулась от неожиданности. Несколько секунд все молчали.

— Вот теперь мне ясно, для чего он на тебе женился,— наконец произнесла Тэза.

— Здесь все дам завидуют и дедавидят, а там он откгоет свою фиг-
му. Он еще докажет всеб этиб дугакам! — Марина кивнула в сторону
окна, выходящего во двор.

— Если они — дураки, то ты — идиотка! — пришла в себя баба Ма-
ня. — Лучше б я до этого часа не дожидла! — Она стала завывать. — Поче-
му ты ее не проклинаешь, Тэза?! Ведь ты же мать! Ты же не отпустишь
свое дите на погибель?.. Убей ее собственным секачом, убей! Пусть бу-
дет кровь на стенах!..

Переждав этот эмоциональный взрыв, Тэза хрипло спросила:

— Твое решение окончательное?

— Да! — твердо ответила Марина.

— Тебе нужен от меня какой-то документ?

— Твое согласие. Идаче оди дас не отпустят. — Она протянула сло-
женный вдвое лист бумаги. — Тут уже все отпечададо, надо только под-
писать.

Не читая, Тэза поставила подпись и возвратила дочери документ.

— И духи заberi, и конфеты. Нам это не надо.

Из глаз Марины брызнули слезы.

— Это де тебе! Де тебе!.. Это бабушке!

Она резко вскочила, подбежала к бабе Мане, обняла ее сзади и ста-
ла быстро-быстро целовать в седой затылок. Маня снова запричитала:

— Лучше б я умерла вместо Леши! Лучше б меня посадили вместо
Жоры!..

— Бабулеська, давай я тебе что-нибудь постигаю! — попросила Ма-
рина.

— Я все белье отнесла в прачечную,— опередила ответ старухи
Тэза.

Размазывая краску по лицу, Марина закричала матери:

— Ты злая!.. Злая!.. Папа бы бедя подял. Я завтга пойду к дему, все
гасскажу и попогощаюсь...

— Не смей рассказывать папе! — приказала Тэза. — Он этого не пе-
реживет.

Когда за Мариной захлопнулась дверь, баба Маня накинулась на
дочь.

— Ты-таки деспот!.. Ты — фашист!.. Ты — Иосиф Адольфович!

И вдруг смолкла, увидев, как Тэза обмякла, опустила на пол,
опрокинувшись на четвереньки и негромко, по-звериному заскулила, как
волчица над своим погибшим детенышем.

В нашем дворе это был второй случай эмиграции. Первым выехал Дима Мамзер, большой рыжий мясник с мощным торсом, покрытым курчавым мехом, и руками штангиста, усыпанными миллионом нахальных веснушек. Работая мясником, он был самым уважаемым и самым благополучным человеком не только в нашем дворе, но и во всем квартале. Но однажды произошло событие, поломавшее всю его жизнь: Дима участвовал в смотре самодеятельности, читал «Белеет парус одинокий» и получил гран-при мясокомбината. Это решило его дальнейшую судьбу: он заболел искусством, бросил магазин и начал устраиваться чтецом, что было нелегко, потому что произносимые им фразы напоминали кашу из пережеванных слов, которую он выплевывал изо рта, разбрызгивая буквы.

С таким речевым аппаратом ему пришлось кочевать из филармонии в филармонию в разные концы нашей страны.

Сердобольные грузины посылали его читать стихи горным пастухам, которые все равно не понимали по-русски. В одном из донецких домов культуры, перемазанный сажей, он изображал шахтера-передовика. В Хабаровске работал в ансамбле глухонемых. Ставка у него была разовая, минимальная. Он за месяц зарабатывал столько, сколько в бытность мясником — за один удар топором.

Иногда, дорвавшись до казенного телефона, Дима звонил жене откуда-нибудь из Киргизии или Якутии и оптимистично орал в трубку:

— Броня, держись! Скоро все наладится! В Йошкар-Оле мне обещали главную роль в ансамбле лилипутов! Держись, Броня, держись!

И Броня держалась. Сперва она продала все ювелирные изделия, которые в прошлом материализовались из излишков свинины и говядины, потом — ковры, хрусталь, выходные платья. Но блудный муж не возвращался. Семья обнищала. Четверо рыжих, как папа, мамзерят голодной стаей рыскали по двору, подкармливаясь у соседей. И тогда не имеющая никакой профессии Броня пошла работать уборщицей, но далеко, в другом конце города, чтоб во дворе не узнали, чтобы не компрометировать мужа-артиста.

Прошло несколько лет. В непрерывных поисках актерского признания Дима очень изменился: похудел, помрачнел, мех на его груди уже не вился веселыми колечками, а стоял дыбом, веснушки слились друг с другом и напоминали ржавчину. В глазах появился злой голодный блеск. После очередного отказа очередной филармонии он подал заявление на выезд в Израиль. Как ни отговаривали Диму его коллеги-мясники вернуться в магазин, предлагая даже «поставить его на телятину», как ни молила измученная Броня, он от своего решения не отказался.

В ожидании разрешения на отъезд он напивался со знакомыми рубщиками, стучал кулаком-молотом по столу и рычал:

— Ненавижу! Всех ненавижу!..

Потом гонялся за своими мамзерятами и требовал, чтоб они учили «идиш».

Тихая и забитая Броня на сей раз вдруг проявила железную стойкость и схать наотрез отказалась.

— Тогда ты мне не жена! — заявил Дима. — Ты — Павлик Морозов!

Он развелся с Броней, написал десятки жалоб во все соответствующие инстанции, ходил по приемным, кричал: «Я не хочу с вами жить!» и требовал немедленного разрешения.

Наконец, оно было получено. Дима бережно уложил в чемодан обшую тетрадь, в которой был переписан весь его репертуар, ни с кем не прощаясь, вышел из подъезда и сел в машину своего друга мясника Лени. Все соседи высыпали из квартир, выстроились в две шеренги, создав живой коридор, сквозь который и выехала со двора машина. Обжигаемый десятками глаз, Дима победно развалился в кресле и «по-заграничному» дымил сигарой, которую давно приобрел специально для этой минуты. А в оконной раме второго этажа замерла Броня, живым символом отчаяния и скорби.

Через несколько месяцев в одной солидной газете появилась статья «Письма Димы Мамзера». В ней вкратце рассказывалась Димина биография и цитировались строчки из его писем другу Лене. Дима сообщал, что живет в подвале без удобств. У него только примус и к нему всего три иголки.

Заплаканная Броня примчалась к Лене за подробностями.

— Ты дура! — успокоил он ее. — Кому ты веришь! Это же — код, мы заранее условились. Живет в подвале, значит, принят на работу, без удобств — это без диплома, примус — квартиры, три иголки — три комнаты... Они потребовали его письма — я дал, пусть печатают, журналисту тоже надо жить... Но Дима — в полном порядке!

А еще через месяц Леня заехал к Броне и сказал:

— Можешь кусать себе локти — он уже диктор «Голоса Израйля».

И действительно, в ту же ночь Броня услышала из «Спидолы»: «Вел репортаж Дмитрий Мамзер».

Назавтра пришел вызов на междугороднюю станцию. Звонил Дима. Он кричал в трубку, какая у него шикарная машина, сколько он зарабатывает, и звал Броню с детьми к себе.

— Оставь им и мебель, и тряпки. Приезжай голая с голыми детьми, — я вас одену, как кукол!..

Броня слушала, глотала слезы и улыбалась, радуясь его голосу. Потом проштентала в ответ, скорее себе, чем ему:

— Я не поеду.

Но он услышал и вскипел:

— Почему, комсомолка?! Что ты там потеряешь, кроме субботников?!

Броня не смогла бы объяснить ни ему, ни себе, что она теряет, но потерять было страшно.

А еще через месяц наступил крах Диминой карьеры. Об этом рассказал все тот же мясник Леня.

— Знаешь, что сделал этот псих? Он пришел на радио пьяным, а в Израиле это почему-то не одобряют. Его вызвал шеф и спросил: «В чем дело?». Дима ответил: «Сегодня праздник». «Какой праздник?» — удивился шеф. «Седьмое ноября, — ответил Дима. — Праздник Октябрьской революции!... Как ты догадываешься, он уже не диктор!

С тех пор Димины следы потерялись, он не писал, не звонил. Ходили слухи, что он уехал в Америку.

Марина больше не появлялась. Об ее отъезде они узнали из письма, полученного по почте. Она желала им здоровья, просила простить ее, обещала присылать посылки. Внизу, рукой Тарзана, было дописано: «Привет от необрезанного израильянина!»

Тэза прочла письмо сдержанно, внешне спокойно, а у бабы Мани начался приступ. Приезжала «Скорая», делали уколы. Когда боль отпустила и врач уехал, баба Маня поманила Тэзу, велела сесть рядом на постель и открыла ей главную тайну своей жизни:

— Я тебе не родная. У тебя есть мать.

И она рассказала то, что таила все эти годы.

Отец Тэзы был суров и набожен. Он жил в Бердичеве. Женился, уже будучи пожилым. Ривка была лет на двадцать его моложе — он держал ее в строгости и под неусыпным надзором. Но, несмотря на это, она ему изменила с каким-то молодым инженером. Он ее выгнал, а Тэзу, которой тогда было чуть больше годика, оставил себе. Ривка уехала со своим инженером в Ленинград и там вышла за него замуж. А отец взял в дом бабу Маню, дальнюю родственницу, которая приехала из местечка и была тогда очень «файненькая». Через год после побега Ривка прислала письмо, просила у бывшего мужа прощения, сообщала, что живет хорошо, и спрашивала, как Тэзочка. Отец ответил, что Тэза умерла, а сам стал срочно сворачивать дела, готовясь к отъезду. Видя, как Маня привязалась к ребенку, он быстро женился на ней, и они все тайком переехали в Одессу, чтобы замести следы. Рассказывали, что Ривка потом приезжала, искала своего бывшего мужа, искала Тэзину могилку и безрезультатно вернулась в Ленинград.

— Найди ее! — потребовала баба Маня. — Я скоро умру. Жора в тюрьме. Марина — отрезанный ломоть. Тебе нужны близкие. У нее фамилия мужа. Дай мне шкатулку. — Она стала рыться в пожелтевших бумагах. — Берегла всю жизнь для этого случая. Помню, что похоже на фаршированную рыбу. — Она нашла нужную бумажку и прочитала. — О! Фишман.

Теперь, когда мы подошли ко второй половине нашего повествования и действие начнет развиваться стремительней, давайте ненадолго остановимся и поудивляемся тому, чему до нас уже миллионы раз удивлялись. Вот ведь как в жизни все неравномерно распределено: одному — только радости и удачи, другому — беды и печали. Казалось бы,

уже все, хватит: план по горестям давно перевыполнен. Но нет! Все сыплются и сыплются, одна за другой, как из рога изобилия, на седеющую голову, на согбенную спину, на израненное сердце... А если присмотреться и подытожить, то можно еще к одному открытию прийти, что все это достается только хорошим людям. Правда, есть мнение, что потому они и хорошие, что многое в жизни испытали. Вот и выходит, что доброму и душевному человеку всегда жить мучительнее и труднее, чем какому-нибудь холодному и черствому эгоисту. И тогда возникает вопрос, который и до нас миллионы раз в минуты отчаяния задавали себе наши многострадальные предки: «Так где же тогда обещанная справедливость? Где она? Где?» Не случайно постоянным причитанием бабы Мани стало: «Чтоб нам завтра было так хорошо, как нам сегодня плохо!» И тогда я задам еще один вопрос: так что же то самое главное, для чего человек является на Землю: Любовь?.. Материнство?.. Созидание?.. Увы, нет. Человек рождается для потерь.

Всю дорогу в самолете Тэза переживала: отыщет ли она мать? А вдруг та не дожидается встречи с покинутой дочкой, ведь она всего на шесть лет моложе бабы Мани. А если и жива, то она могла переехать в другой город или еще раз выйти замуж и изменить фамилию.

Но по прилете ее опасения рассеялись: Ревекка Фишман была жива. В адресном бюро дали ее домашний адрес и телефон. Больше того, по случайной случайности сотрудница бюро хорошо знала эту семью, и мать, и троих ее сыновей. Старший из них, Давид, работает в центральном салоне-парикмахерской.

— Шикарный мастер, — сообщила сотрудница, — к нему запись вперед на месяц.

В салоне был перерыв. Тэза постучала во входную стеклянную дверь. Подошла недовольная уборщица-грузинка.

— Перерыв, генацвале, перерыв. Прочесть не можешь? Зачем в школе училась?

— Мне нужен Давид Фишман. Пожалуйста! Очень нужен!

Что-то в Тэзином голосе заставило старушку смягчиться.

— Заходи. Жди. Позову.

Через несколько минут в фойе спустился высокий седовласый человек в белом халате.

— Это вы ко мне? — Он приветливо улыбнулся. — Что-то срочное?

— Я... ваша... — Тэза запнулась.

— Вы моя клиентка? — помог ей Давид.

— Я ваша сестра.

— Сестра? — Он все еще улыбался, но теперь уже чуть удивленно. — Медицинская?

— Я ваша сестра, — повторила Тэза. — Родная. — И для убедительности почему-то добавила: — Из Одессы.

Улыбка слетела с лица Давида. Он подвел Тэзу к дивану, усадил, сел рядом и, внимательно глядя ей в глаза, попросил:

— Рассказывайте. По порядку.

Сбиваясь, Тэза пересказала ему историю, поведенную ей бабой Маней. Рассказала, как сперва колебалась, не хотела ехать, а потом лихорадочно заторопилась. Как летела и волновалась, что не найдет, не застанет. Жила ведь без них всю жизнь, и ничего. А вот сейчас, если б не отыскала, наверное, умерла б от горя...

Давид слушал, не перебивая, впитывая каждое ее слово. Только его огромные глаза стали еще больше. Тэза во время рассказа ловила себя на странном, вдруг возникшем желании поцеловать его в эти добрые глазницы.

Когда она замолчала, Давид вдруг неожиданно потребовал:

— Покажите мизинец. Или лучше оба.

Она протянула ему свои ладони. На каждой руке, рядом с длинными музыкальными пальцами, стыдливо прятался коротышка мизинец. В нем было всего две фаланги. Тэза всегда стеснялась этого своего дефекта. Но Леша успокаивал ее, шутливо объясняя, что она в детстве, когда сосала пальцы, откусила по кусочку от каждого мизинца.

— Теперь верю, — сказал Давид. — Это как паспорт нашей семьи. — Он показал ей свою огромную ладонь: рядом с пальцами-гулливерами пристроился лилипут-мизинец. — Это от мамы, деда и прадеда... — Остановился, вдруг осознав случившееся. — Значит, у нас появилась сестра?.. Сестричка? Сестренка? — Вскочил, поднял ее, привлек к себе, осторожно прижал к груди и замер от нахлынувшей на него радости, а Тэза воспользовалась этим и удовлетворила свое затаенное желание: чмокнула его в оба глаза.

Конечно, Давид больше не работал. Он сбросил халат, извинился перед клиентками, уже поджидающими его, посадил Тэзу в «Жигули» и повез на улицу Марата, где в большой, многокомнатной квартире жила семья Фишманов.

— Сегодня суббота, все в сборе. Ой, что будет, что будет! — радовался он, предвкушая потрясение семьи. Потом вдруг резко затормозил. — Мама может не пережить. — Он выскочил и направился к телефону-автомату... — Позвоню братьям, предупрежу, посоветуюсь...

Когда они с Давидом вошли в дом, семья только что закончила обедать. Все еще сидели вокруг стола, в гостиной. В старинном кресле, как на троне, в окружении царедворцев, сыновей, невесток и внуков, восседала красивая, величественная старуха.

Давид ввел Тэзу, сделал условный жест братьям, мол, это и есть она, склонился к матери, поцеловал ее, шепнул: «Тебя ждет радостный сюрприз», — и отошел в сторону.

— Вы ко мне? — удивленно спросила старая царица.

Не в силах произнести хоть слово, Тэза кивнула.

— Кто ты, деточка?

Тэза продолжала молчать, но глаза ее призывно кричали. И вдруг старуха, опершись о подлокотники, приподнялась в кресле и секунду

пристально рассматривала Тэзу. Во взгляде ее была растерянность и потрясения.

— Нет!... — сперва прошептала она, а потом закричала: — Нет!.. Нет!... — уже понимая, что это произошло.

Тэза молча, как визитную карточку, выставила вперед свой укороченный фирменный мизинец.

— Да!... — выдохнула старая Рива, встала, сделала шаг к Тэзе, но ноги ее от волнения подкосились, и она пошатнулась. Сыновья подхватили ее под руки. С непривычной для нее робостью она попросила: — Если ты меня простила, поцелуй меня.

Волоча непослушные ноги, Тэза подошла к ней, приложила свои ладони к ее морщинистым щекам, прильнула лицом к ее лицу, и так они молча стояли, может, мгновение, а может, вечность, мать и дочь, обретшие друг друга.

А дальше все было как в сплошном розовом тумане: Тэзу обнимали, целовали, говорили ласковые слова. Кто-то чуть ли не насильно вталкивал ей в рот вкусное угощение, кто-то снял свое кольцо и надел ей на палец в память об этой встрече. Но особенно счастлив был старший из братьев, Давид. Он радовался как ребенок.

— Я умолял маму подарить мне сестричку, а она родила этих двух балбесов.

«Балбесы» дружно хохотали.

Тэза с внимательной нежностью рассматривала своих братьев, до смешного похожих друг на друга, как будто их штамповали. Только возраст внес свои коррективы, придав каждому индивидуальность. Младший, Борис, носил на голове копну волос антрацитового цвета, которая не помещалась даже под широкополой шапкой. У среднего, Иосифа, который не расставался с трубкой, на голове была такая же копна, только она уже серебрилась. А у старшего, Давида, и шевелюра, и борода, и бакенбарды совсем поседели, и его библейское лицо было особенно красивым в белом обрамлении волос, как икона в серебряном окладе.

Отец их умер в пятидесятом году от ран, полученных на фронте, и вся сыновья любовь сосредоточилась на матери. Они обожали ее, боготворили и слушались, беспрекословно подчиняясь любому ее капризам. Их жены и дети унаследовали это поклонение, и бабушка безраздельно властвовала в своем семейном царстве. Как всякий диктатор, она была властна и категорична, ее мнение было окончательным и бесповоротным, она требовала подчинения даже в мелочах.

— Давид, — спрашивала мужа за ужином его жена, — не хочешь ли жареной утки?

Давид не успевал расслышать вопрос, как мать уже отвечала:

— Он не хочет: у него гастрит.

— После Ессентуков у него уже нет гастрита, — робко возражала невестка.

— А я говорю — есть! Просто он от тебя скрывает.

— Скрываю, скрываю,— поспешно вмешивался Давид.— По ночам у меня справа ноет.

— У тебя должно ныть слева,— поправляла его мать.

— И слева ноет. И справа. Наверное, у меня два гастрита.

И Давид категорически отказывался от утки, хотя еще утром мечтал ее отведасть.

Конечно, все три невестки, как и положено невесткам, сперва пытались восстать против такого диктата, но их бунты немедленно подавлялись, они привыкли и покорились.

Надо отдать должное старой Риве — она была умна и справедлива. Если в спорах с женами ее сыновья были не правы, она устраивала им такой разнос, что они сутками отсиживались в своих комнатах, чтобы «мамочка успокоилась». Она вершила суд и расправу в своей семье, наказывала и миловала. Но стоило кому-нибудь из соседок не то чтобы осудить кого-то из Фишманов (Не дай бог! Такое было даже страшно предположить!), а хотя бы просто не высказать своего одобрения — Рива коршуну налетала на обидчицу и буквально заклеывала ее: никто не смел критиковать никого из ее семьи, даже их кошку — это являлось только ее правом, остальные обязаны были ими восхищаться.

Когда первые эмоции поостыли и все чуть-чуть успокоились, Рива стала подробно расспрашивать новоявленную дочь о ее жизни. Тэза долго рассказывала об Алексее, о Марине, о бабе Мане.

— Я хочу видеть женщину, которая вырастила мою дочь, хочу поклониться и поцеловать ей руку. Мы сейчас же пригласим ее к нам. Все три сына вскочили, собираясь бежать на телеграф.

— Она не сможет лететь,— остановила их Тэза,— она очень больна.

— Мы ее вылечим!

— Какой-то французский препарат мог бы продлить ей жизнь, но у нас его еще нет.

— Какой препарат?

Тэза вынула из сумочки рецепт и протянула матери.

— Иосиф в своей больнице может достать любые французские лекарства, даже те, которых еще нет в Париже!

Восприняв это как указание, Иосиф забрал у матери рецепт и направился к телефону.

— Позвоню нашему фармацевту.

— Я бы сама полетела к ней, в Одессу, но уже не успею.— Рива погладила дочь по плечу.— Ничего, мы там вылечим ее, вот увидишь.

— Где там? — спросила Тэза, почему-то холодея от ужасного предчувствия.

— В Израиле. Через неделю улетаем.— Увидев, как изменилось лицо дочери, поспешно добавила: — И немедленно пришем вам вызов.— Обняла ее, прижала к груди.— Какое счастье, что ты успела до нашего отъезда!

— Завтра же пойду в синагогу, поблагодарю бога,— сказал Борис.

— Боб у нас верующий, соблюдает посты, знает иврит, — улыбаясь, объяснил Тэзе Давид. — С тех пор как впервые услышал слово «жид», в нем проснулось его еврейское самосознание — освоил талмуд и каратэ.

— В отличие от некоторых, — парировал Борис, — на которых можно плюнуть — они утрутся и сделают вид, что ничего не произошло.

Рива движением руки погасила этот конфликт.

— Есть бог или нет, я до конца дней своих буду ему молиться за то, что он вернул мне дочь!

Потом Тэзу возили по улицам, показывали город, накупили кучу подарков. К вечеру в доме собралось много гостей — Рива знакомила друзей и родичей со своей новой дочерью. Тэза пожимала руки, принимала поцелуи, улыбалась, целовала в ответ, но в душе у нее уже поселилась тяжелая, холодная беда, от которой стыло сердце: найти и потерять — как это жестоко и несправедливо!

Вызов всему семейству Фишманов прислал Ривин младший брат Лева. Это был человек с огромным носом и неиссякаемой, вулканической энергией, за что и получил прозвище «Перпетуум-Шнобиле». Чем только он не занимался, чего только не предпринимал!.. Устраивал у себя в квартире выставку-продажу непризнанных художников... Руководил подпольной станцией техобслуживания... Организовал частную киностудию, на которой отснял фильм в защиту природы под названием «Волк волку — человек». Лева пытался продать этот фильм кинопрокату, а там, в свою очередь, пытались узнать, где он достал пленку. Тогда Лева стал связываться с Голливудом, предлагая им свое творение.

Его предприимчивость не вмещалась в рамки социалистической законности, и Лева всю жизнь существовал в постоянном конфликте с юриспруденцией, поэтому на комфортабельных теплоходах Черноморского пароходства ежегодно, на всякий случай, совершал прощальный круиз перед тюрьмой. Вся его кипучая деятельность была направлена на то, чтобы разбогатеть. Но ему это не удавалось: заработанные деньги уходили на банкеты, где он поил «нужников», прикрывающих его от неприятностей.

Единственная ценность, которую Лева шумно берег и которой бурно гордился, — это уникальная золотая брошь с большим сапфиром, окруженным алмазами, — собственноручное изделие предка-ювелира, подаренное им в день свадьбы своей молодой жене. Брошь переходила из поколения в поколение, мужчины дарили ее женам, жены сыновьям, те — своим избранникам... Как единственный сын, Лева получил ее для дальнейшей эстафеты, но, поскольку он ни разу не женился, брошь осела у него и стала главной реликвией его холостяцкой квартиры.

Когда появилась возможность выехать в Израиль, Лева немедленно подал заявление на выезд, рассчитывая в земле обетованной наконец результативно применить свою энергию.

— Брошь вывезти не разрешат, — предупредили его друзья.

— Почему?! — возмутился Лева. — Я же ее не украл! Это — мое, мое! Пусть только посмеют не разрешить!

Но таможенники посмели.

Тогда Лева решился на авантюру: он спрятал брошь в каблук, предварительно выдолбив там тайник. Всю дорогу до аэропорта его трясло от страха: а вдруг найдут — тогда скандал, суд и уже точно тюрьма, и уже точно без прощального круиза. Перед самой таможней он не выдержал, снял туфли и передал их провожающему его Борису.

— Не хочу рисковать. Надень. А мне дай твои.

Они поменялись обувью, и дядя с облегчением предстал перед таможенниками. Те подозревали, что он попытается провезти свою прославленную брошь, поэтому тщательно протрясли содержимое чемоданов, прощупали всю одежду, потом потребовали снять туфли. Их сперва протукали, потом оторвали каблук, затем подошвы. Естественно, ничего не нашли, но обувь измордовали.

— В чем же я полечу? — растерянно спросил Лева.

— Возьмите обувь у провожающего, — таможенник указал на маячащего за стеклянной перегородкой Бориса. — У него какой размер?

— Сорок три.

— А у вас?

— Такой же.

— Вот и обувайтесь.

Таможенник сам взял у поспешно разувшегося Бориса его туфли и отнес их дяде.

— Уж извините: служба, — объяснил он, оправдываясь.

— Ничего, ничего, ведь вы же должны быть бдительными! — великодушно простил его Лева, совершенно обалдевший от такого поворота событий.

Благодаря неизрасходованной предприимчивости Лева довольно быстро открыл свое дело, стал настоятельно звать всех родственников и прислал им вызовы. Семья раскололась: младшие братья решили ехать, а Давид отказывался наотрез. Рива впервые в жизни не вмешивалась в их споры, только внимательно прислушивалась, — не высказывая своего мнения.

— Вы что, не знаете дядю Леву? — убеждал братьев Давид. — Думаете, он соскучился по нас?.. Просто его фирме нужны дешевые работники!

— При чем тут Лева и его фирма! — горячился Борис. — Это бог нам дает возможность — нельзя ею не воспользоваться!

— Зачем тебе Израиль?

— Хочу жить на родине! Понял?

— Родина там, где ты родился.

— Нет. Родина там, где тебя не оскорбят за твое происхождение. Меня тогда оттащили от той сволочи, я не успел его придушить. Но ес-

ли мою дочь назовут «жидовкой», меня уже никто не остановит, я убью гада и сяду в тюрьму!.. Не хочу дожить до этого.

— Почему ты уверен, что ее обязательно обзовут?

— А ты уверен, что не обзовут? Что, в России уже не осталось черносотенцев? Просто они теперь называются по-другому. Вспомни того киноведа из Киева.

— Какого киноведа? — не понял Давид.

— Котенко. Я же тебе о нем рассказывал.

— Это не ему, это мне, — уточнил Иосиф, попыхивая трубкой.

— А?.. Тогда и тебе расскажу. Помнишь, я ездил в двухмесячную командировку, исследовал кинематограф Украины? Так вот, этот Котенко под любым предлогом не допускал меня к архиву. Когда я взял его за грудки и припер к стенке, он откровенно признался, что не хочет, чтобы иноверцы вмешивались в славянскую культуру. Это был профессиональный антисемит со своей философией. «Вы споили Россию, — заявил он мне. — Вы и ваши предки-корчмари». «Тогда вы предали Россию, — ответил я. — Вместе с вашим Мазепой. Кстати, в России было достаточно кабаков русского происхождения. — Нет! Это вы спаивали народ! — Зачем? — Чтобы захватить власть! Чтобы вытеснить нас из нашей культуры и науки! — Вас, как мне рассказали, не нужно было вытеснять — вы сами выпали. А вот Вавилон мог бы так заявить, когда его травил Лысенко». Он просто затрясся от ненависти. «Вы все — сионисты, только скрываете это! Все — американские шпионы! Вы хотите взорвать наши памятники!» Такого концентрата тупой агрессивной ненависти я еще не встречал. Истоки этого мне потом стали ясны: он неудачник. Пытался пробиться в режиссуру — прогорел, писал сценарии — не прошли. Стал чиновником при искусстве. Ненавидит всех преуспевающих, даже своих братьев-славян. Ну а об иноверцах и говорить нечего!.. Знаешь, какое его любимое занятие? Ребята из отдела рассказали. После ужина берет «Вечерний Киев», просматривает сообщения о смерти и заболеваний, находит еврейскую фамилию, радостно восклицает: «О! Еще один!» — и выписывает эту фамилию в общую тетрадь.

— Ну, это уже патологический случай.

— Да. Но такие есть. И для них мы были причиной всех бед и буждем. Мы виноваты в том, что много алкашей, и что гибнут памятники старины, и что медицина недоразвита... Недавно на рынке одна кликуша кричала, что мало кур, потому что евреи варят бульон... Ты ведь знаешь, злора всегда активнее, чем добро. Малейшее послабление — и они себя еще покажут. Не хочу дожить до этого.

— Как легко ты отрываешься от страны, в которой родился.

— Не я отрываюсь от нее — она меня отряхнула.

— Почему ты так решил?

— Это решился за меня: не пустили уже на третий международный симпозиум, где обсуждались мои статьи. Посылали моего заведателя, который в этом ни в зуб ногой. Кстати, у меня уже готова докторская, а он

еще и не кандидат, но отделом руководит он, а не я. Это обидно, но не это главное.

— А что?

— Объясню. Я социолог. Моя обязанность предвидеть. Предвидеть лет на пятьдесят вперед, а здесь даже на пятьдесят дней вперед никто не заглядывает. Живем, как воробьи, поклевали денек — и рады... Дали мне задание определить, какие социальные факторы влияют на текущее кадров. Я занимался им восемь месяцев, дневал и ночевал на заводах, анкетировал тысячи рабочих, перевел десятки иностранных статей. Рассчитал, вывел, дал рекомендации. Меня поздравили, пожали руку, даже премировали месячным окладом. А моя работа уже более двух лет лежит в столе — никакого движения. Так было и с предыдущими. Сперва я ужасно огорчился, переживал, а потом понял: моя профессия здесь не нужна. Значит, и я не нужен... А там меня ждут, там требуются мои мозги и моя энергия...

— Ты уверен, что сможешь работать по специальности? Мало там своих безработных гуманитариев?

— Пойду в строители — я же вкалывал в студенческих отрядах. Будут строить Комсомольск-на-Иордане.

— А если в армию призвуют?

— Стану солдатом. Наш отец же защищал свою родину, а я буду защищать свою.

— Какая это родина! Чужой край, чужие нравы!..

— Да. Но это единственная страна, где если мне скажут: «Ты грязный еврей», — я не обижусь, а пойду и умоюсь.

Давид расстроено развел руками.

— Мы не слышим друг друга. Если бы жил отец, он бы тебя оставил. А я... У меня не получается. Я не так мудр, как он. Вспомни его любимый афоризм: «Чем хуже, тем лучше»... Наша страна действительно в тупике, но скоро все изменится, поверь. Не может не измениться. Восторжествоует разум и свобода...

— И равенство, и братство, да?.. — Борис саркастически рассмеялся. — Я тебе напомним еще один афоризм нашего мудрого отца: «Еврей-дурак — хуже фашиста». Пойми, повторяю: как только наступит ослабление — все эти котенки-мухоморы пробьются сквозь асфальт, антисемитизм расцветет пышным цветом и обратно его не загонишь.

— Ты, социолог, не веришь в прогресс общества?

— Я верю в то, что мы всегда были и будем выхлопным клапаном народного недовольства жизнью. Каждая еврейская эмиграция предшествовала великому кровопусканию в России: перед погромами девятьсот пятого года, перед гражданской войной, перед репрессиями тридцать седьмого. А то, что происходит сейчас, даже не эмиграция, а эвакуация,

значит, будет еще пострашней. Хочу избавить свою семью от этого будущего.

Уставший от спора Давид вздохнул и перевел взгляд на среднего брата.

— Боб всегда был экстремистом. Но ты же разумный человек, что тебя туда тянет?

Иосиф набил трубку, затянулся, выпустил цепочку дымовых колец и ответил:

— Я еду, потому что ехать нельзя.

— Не понял, — удивился Давид.

— Наверное, — разъяснил Иосиф, — если б выезжать можно было легко и свободно, в любое время, на любой срок — я бы и не подумал об отъезде. Но меня ставят перед выбором: или навсегда, или никогда. Вот я и решился.

— Так рассуждать — преступное легкомыслие. Что может быть трагичней, чем покидать свою страну?!

— Этот трагизм — искусственный. Если б я мог поехать, пожить, приехать — никакой трагедии бы не произошло. Трагедию породил запрет и придал ей такие масштабы, потому что запретное всегда манит больше, чем доступное.

— И тебе не страшно так рисковать?

— Страшно. Но страшнее — не рисковать. Хочется подарить себе немного другой жизни. Я устал от вечных проблем: на работе, на отдыхе, в быту... Вчера в очереди какая-то старушка спросила: «Давно стоите?» Я ответил: «С детства» ... Надоело! Хочу нажать кнопку и заказать «мерседес» к подъезду. И чтоб он был минута в минуту, независимо от того, когда завезли бензин и есть ли у шофера отгулы... И еще запомни: как только первый еврей уехал из страны, нам перестали верить.

— Неправда.

— Увы. Мой главврач неплохой мужик, но страшный карьерист, больше всего боится, чтоб не легло пятно на коллектив. Я еще и не думал об отъезде, а он меня все время пытал: «Ты не уедешь? Ты точно не уедешь?» Перестал в турпоездки пускать, даже в Монголию... Вот я теперь и оправдаю его недоверие.

— Вы оба обезумели! — Давид вскочил и несколько раз пересек го-стиную туда и обратно. — Ведь мы из другого теста — мы будем страдать. Вы же читали оттуда письма: им плохо, они тоскуют по Родине!

— Они тоскуют по нашему бардаку, по нашей неорганизованности, — поправил его Иосиф. — Их травмирует порядок. А я по нему истосковался.

— Чем больше наших евреев туда приедет, тем скорее и у них начнется бардак.

— И прекрасно! — выкрикнул Борис. — Перестанут тосковать!

— Если мы уедем, мы будем потом кусать себе локти.

— Если б можно было просто съездить, посмотреть, но... — Иосиф развел руками. — Повторяю: мы лишены такой возможности. Поэтому надо рисковать. Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что не сделал.

— Объясни, за что ты так цепляешься? За свои чаевые? — куснул Борис старшего брата.

— Да, я брал чаевые, чтобы вырастить и тебя, и тебя, и дать вам образование. Поэтому вы сегодня можете с таким апломбом меня давить.

Давид встал и направился к дверям, но Иосиф остановил его:

— Прости, Боб действительно экстремист, но он не хотел тебя обидеть.

— Дод, не сердись, — опомнился Борис, — но меня злит твоя непоследовательность; сколько раз ты сам возвращался с работы и материл все на свете!

— Я и сейчас не идеализирую. — Давид снова сел на свое место. — Мне выдают такие тупые ножицы, что я их использую как щипцы. Когда я включаю наш отечественный фен, он плохо сушит, но хорошо воеет, как турбина реактивного самолета — и клиентки в ужасе катапультуются из кресел. Я вынужден покупать импортное оборудование, импортные шампунь и краски, сам, за свои деньги, кстати, за те же чаевые... Мало того, на моей шее сидят еще два бездельника, которые полдня болтают по телефону.

Борис возмутился:

— С какой стати ты их должен содержать?

— Бригада: все делится на троих. Они делают по полплана, я выдаю три — в общем, у нас перевыполнение...

— Почему ты соглашаешься отдавать свои деньги?

— Существует потолок, — объяснил Давид. — Сколько бы ни заработал, больше положенного все равно не получу.

— Я очень старался быть сдержанным, но, прости, не получается! — Борис подскочил к брату и, глядя ему глаза в глаза, выкрикнул: — Так что же тебя здесь держит?!

Давид снисходительно улыбнулся, как человек, который знает что-то большее, чем другие.

— Я никогда не уеду отсюда.

— Почему?

— Мне очень грустно, что ты задаешь этот вопрос.

— Но ты ответь. Ответь!

— Есть много важных причин.

— Например? Назови хоть одну, чтоб я тебя понял!

Давид снова улыбнулся, потом помолчал и начал неторопливо:

— Когда-то в юности мы поспорили с моим товарищем на ужин в ресторане. Я утверждал, что на нашей улице в каждом доме есть как минимум одна квартира, в которую мы можем постучать и меня там радужно примут. Он не поверил — ударили по рукам. Обошли шесть домов по его выбору. Открывались двери, раздавалось радостное: «Давид!.. Давидушка!.. Додик!..» Он проиграл, но в ресторан мы уже не пошли — нас запоили и закармлили... — Давид встал и подошел к окну. — Это мой город. Мне здесь хорошо. В этой огромной квартире, в которую мы много лет съезжались, чтобы жить всем вместе. — Толчком распахнул раму — в комнату ворвался напряженный шум улицы. — Отсюда виден Невский. Там мое детство, моя молодость, моя жизнь. Когда слышу, как им восхищаются иностранцы, я так задаюсь, будто они меня расхваливают... В этом городе все мое, даже Петр на Сенатской площади — он знает все мои увлечения, я всегда назначал свидания рядом с ним... И люди здесь — мои. Когда по утрам я шагаю на стоянку за машиной, мне столько встречных радостно кричат «Здравствуй!» и я так заряжаюсь их доброжелательностью, что буду жить до ста лет.

— А там тебе будут кричать «Шолом!»

— Но уже не те, не те. Знаешь, кто такой эмигрант? Это человек без прошлого. Я не могу бросить свое прошлое ради неизвестного будущего.

Такие споры продолжались изо дня в день, во дворе, за столом, в собственных спальнях. «Ехать или не ехать» — спорили до хрипоты, до скандалов, до взаимных оскорблений. Спорили не только в семействе Фишманов — бурлила вся Одесса. Да и не только она — и Киев, и Ленинград, и Тбилиси покидали еврейские семьи. Дельцы и интеллектуалы, спекулянты и философы, трудяги и прохиндеи рубили корни и срывались с насиженных мест, увлеченные общим потоком, подгоняемые слухами, боязнь не успеть, опоздать, остаться в ловушке. У каждого была своя идейная платформа, своя причина и своя цель. Одни уезжали, оскорбленные «постоянной второсортностью», из-за неустроенности и бесперспективности, другие — чтобы «прильнуть к национальной культуре и религии», третьи — «ради будущего детей», четвертые — чтобы «еще хоть чуть-чуть пожить по-человечески»... Предусмотрительные тщательно готовились, учили языки, скупали «дефицитные там» украшения, оптику, столовое серебро... Легкомысленные или отчаявшиеся бросались в эмиграцию, не раздумывая, как в воду, — закрыв глаза и вытянув вперед руки с заявлениями в ОВИР.

Те, кто оставался, возмущенные, удрученные, перепуганные, пытались противопоставлять свои доводы, убеждая и оппонентов, и себя. Ярые патриоты: это моя земля! Здесь родился — здесь и умру! Приросшие сердцем: не могу бросить друзей — вместе учились, вместе вкалываем. Сломленные жизнью: понимаю, что надо, но у меня не хватит сил

на оформление документов. Печальные пессимисты: все равно не выпустят. Атакующие оптимисты: настанет время — и у нас все изменится, тогда обратно приползете!..

Под каждой крышей и за каждой стенкой кипели шекспировские страсти, натягивались до предела и со стоном рвались родственные связи. Граница-трещина раздвигала семьи, раскалывала супружеские постели, разрывала любящие сердца.

Почти каждый день мне звонили и приглашали на проводы: посевшие одноклассники, товарищи по институту, коллеги по работе, бывшие возлюбленные и друзья юности. Я прощался с ними, мое сердце плакало, невидимые слезы капали в записную книжку, превращаясь в горячие фразы. Но тогда об этом писать было нельзя. Сегодня я это сделал.

Существует то ли тост, то ли притча, то ли просто мудрое изречение: когда от материка откалывается остров, материк становится меньше. Они откололись от нас и рассыпались островками в огромном бушующем море чужой жизни...

Не сумев переубедить друг друга, братья Фишманы постановили: последнее слово маме: как скажет, так и будет.

Рива всю ночь провела в кресле, как вещи в чемодане, перебирая свою жизнь. Да, было трудно, но она всего добилась, о чем мечтали они с покойным Гришей: хороший дом, крепкая семья, все сыновья женаты, все хорошо устроены, на кусок хлеба хватает и на одеться — тоже. Невестки, правда, могли бы быть лучше, но слава богу не вертихвостки. Зато внуки — чудо, таких внуков вообще ни у кого нет. И не потому, что свои, а совершенно объективно: каждый такая умница, просто вундеркинд!.. Прав Давид, прав. Нельзя бога гневить, нельзя искать от хорошего лучшее...

Придя к окончательному решению, она задремала под утро, и в этой полудреме ей вдруг привиделось, как Борис с перекошенным от ярости лицом в кровь избивает оскорбившего его антисемита и как, перепачканного чужой кровью, его затаскивают в милицейскую машину...

Когда семья собралась к завтраку, она вышла из своей комнаты, тихо произнесла «едем» и вернулась обратно. И все. Споры прекратились. И те, кто были «за», и те, кто «против», стали собираться в дорогу. Двоюродному брату Ривки, дяде Мише, который жил с ними, бывшему буденновцу, уже в маразме, сказали, что переезжают в Кишинев: он там родился и мечтал там побывать перед смертью.

Тэза пробыла в Ленинграде до самого отъезда своей новой семьи. Рива не отпускала ее ни на минуту, держала за руку, как бы боясь, чтобы она не исчезла.

— Боря-таки прав,— говорила Рива.— Бог есть. Это он вернул мне тебя именно тогда, когда мы все вняли его призыву.

Она строила планы их совместной жизни там, в Израиле, в одном общем доме, всей семьей, как они привыкли.

Тэза не возражала ей, молча слушала, улыбалась и целовала морщинистые руки. Но однажды ночью ей приснилось, что она уезжает, пакует вещи, прощается с соседями. Проснувшись в холодном поту, но счастливая, что все это только сон.

В аэропорт Тэзаехала рядом с Давидом. На заднем сиденье сидел старик — дядя Миша и молодой родич, которому Давид эту машину подарил, — он и поведет ее обратно. Семья выехала почти без вещей, у каждого брата — по чемодану: две смены белья, по паре обуви, несколько платяев и сорочек.

— Никакого шмотья! — настоял Борис. — Вывозим только свои головы и руки.

Мебель, ковры, хрусталь — все раздали родственникам и друзьям. Когда подъезжали, Давид негромко произнес:

— Я счастлив, что обрел тебя. Я очень тебя полюбил, но... Не спеши делать глупости, которую совершаю я вместе с моей семьей. Думай, хорошо думай!..

В аэропорту их уже поджидала толпа провожавших: друзья, родственники, товарищи по работе. Среди них был профессор Дубасов, педагог Бориса.

— Это правда, что вас пригласил на работу Бостонский университет? — спросил он.

— Правда, — ответил Борис. — Но я поеду только в Израиль.

— Как ваш друг, я плачу от предстоящей разлуки, как патриот, грущу и негодую. Больно и обидно, что страна теряет такого ученого, как вы. Американцы ездят по всему миру и скупают мозги, а мы...

Дубасов недоговорил, грустно махнул рукой и обнял своего ученика.

Вокруг Давида щебетало с десяток женщин, его постоянных клиентов в супермодных прическах, которые он им сделал «на посошок».

— Дети, это уже Кишинев, да? — спросил дядя-маразматик. — А скоро Кишинев?

Этот вопрос он будет повторять и в Вене, и в Риме, и в Тель-Авиве... Если, конечно, не умрет в дороге.

После мучительного прощания со слезами, стонами, валидолом отъезжающие ушли за таможенный барьер. Убитая горем Тэза вымученно улыбалась.

— Сразу шлем тебе вызов. Сразу! — в сотый раз повторила Рива.

— Мы ждем! — крикнул Боб.

— Мы тебя будем встречать! — пообещал Иосиф.

Только Давид молча смотрел на нее своими огромными грустными глазами.

Через час после их отлета Тэза села в самолет, отправлявшийся в Одессу.

Баба Маня сидела на своем наблюдательном посту, на тротуаре. Подливая кипяток в таз, она информировала о своем здоровье собеседницу на противоположной стороне улицы.

— ... Печень давит на мои почки, почки — на желудок, желудок — на диафрагму, а диафрагма давит на всю мою жизнь.

Увидев Тэзу, выскочила из тафика и потребовала немедленного отчета о путешествии.

Слушая подробный рассказ дочери, она кивала, охала, всплескивала руками. Несколько раз всплакнула. Когда Тэза полностью отчиталась о поездке, баба Маня утерла слезы, тяжело вздохнула и неожиданно потребовала:

— А теперь ляг — теперь я тебе что-то расскажу. Только ляг — это спокойнее слушать лежа.

Она вынула из шкатулки письмо от Марины, надела очки и прочитала его, почти не глядя — чувствовалось, что за время Тэзино отсутствия она его выучила наизусть. Марина сообщала, что, как только они приехали в Рим, где был своего рода отстойник для эмигрантов, Тарзан бросил ее и связался с какой-то богатой дамой. Он забрал все деньги, что им обменяли, все ценные вещи, которые разрешили вывезти, даже ее обручальное кольцо, которое подарил перед свадьбой. Марина была в полном отчаянии, хотела вернуться обратно, ходила в наше посольство, но там с ней даже не стали разговаривать. Она умоляла добиться разрешения возвратиться.

Тэза, не переодеваясь после полета, помчалась в ОВИР, прорвалась к какому-то начальнику, показала письмо и стала просить, чтобы Марине разрешили вернуться. Тот объяснил, что это не в его компетенции — надо ехать в Москву. Но если б это зависело от него, он бы отказал.

Назавтра Тэза уже была в Москве, ходила по разным учреждениям, сидела под кабинетами, молила, угрожала, плакала — ответы были однозначно отрицательными.

Когда она ни с чем вернулась в Одессу, баба Маня показала ей новое письмо от Марины: оказывается, та беременна, аборт делать поздно, рожать на чужбине не хочет и боится. Что делать, не знает. Наверное, закончит с собой.

Несколько минут сидели молча, баба Маня, одетая «по-домашнему», и Тэза в еще не снятом плаще. И вдруг баба Маня высказала ту мысль, которая уже поселилась в Тэзином мозгу, хотя она ее всячески гнала:

— Ты не можешь бросить родное дите — Леша тебе этого не простит. Раз ее не пускают обратно — надо нам туда ехать. Это французское лекарство мне-таки да помогло. Может, и вправду меня там вылечат и я еще с вами немножко поживу.

Назавтра пришло сразу два вызова: от Марины и от семейства Фишманов.

— Пойду к Леше,— сказала Тэза и ушла на кладбище.

Она мыла мраморную плиту, выпалывала траву, поливала цветы и говорила, говорила, говорила, взывая к мертвому мужу. «Лешенька, ты ведь все знаешь, все видишь: я не хочу, я боюсь этого, но меня подталкивают, подталкивают... И новые братья... И мамина болезнь... Но главное — Марина. Ты же понимаешь, что она там пропадет, одна, с ребенком... Мне очень страшно. Мне страшно и больно, будто меня разрывают пополам... Как мне там жить без тебя?.. Что мне делать, Лешенька?.. Что делать?..»

Вернулась вечером с опухшими глазами, но внешне спокойная. В ответ на вопросительный взгляд бабы Мани сообщила:

— Он отпускает.

Они подали заявление, стали собирать документы и готовиться в дорогу.

На следующей неделе Тэза отнесла Жоре очередную передачу и записку, в которой сообщила об их решении. Жора их благословил и просил попробовать через израильское правительство выхлопотать для него амнистию.

В нашем дворе знатоком всех иностранных языков считался мусью Грабовский, поскольку в его лексиконе фигурировали такие импортные словечки, как «гуд бай», «адью», «олл райт» и «пся крев». Баба Маня стала брать у него уроки английского языка. Часами, не снимая очков, зубрила слова и артикли. Вечерами хвасталась:

— Я уже выучила целое предложение. Вот послушай. — И гордо изрекала: — Май нейм из Маня.

А двор между тем гудел и клокотал. Если эмиграция Димы Мамзера, которого не любили, прошла безболезненно для нравственного климата нашего двора, то предстоящий отъезд Тэзы и бабы Мани всколыхнул всех: кто-то сочувствовал, кто-то осуждал, кто-то возмущался. Вот тут-то и возник вдруг повышенный интерес к происхождению каждого. Стали выяснять даже скрытые национальности, кто от кого родился и кем записан. Тема отъезда стала главной темой дворовых посиделок. Произошло расслоение общности на осуждающих и сочувствующих. Осуждали громко и гневно, утверждая свою верноподданность, сочувствовали тихо, робко, с оговорками, боясь попасть в неблагоприятные.

Особенно негодовала старуха Гинзбург, бывшая комсомолка тридцатых годов, реабилитированная в пятьдесят третьем. Ныне она была председателем актива пенсионеров и вела напряженную общественную

жизнь. Узнав о решении Тэзы и бабы Мани, она каждый вечер митинговала под их окнами:

— Ренегаты и перерожденцы!.. Позорите нацию!.. Поцелуйтесь там с моей дочечкой! — И плевала им в окна. Плевала искренне, истово, с усердием. Дочь свою она прокляла за то, что та вышла замуж за немца из ФРГ, и уже третий год не отвечала на ее письма.

ОВИР требовал характеристики. Свою Тэза получила на работе, а бабе Мане должны были ее выдать в домоуправлении. Задержанный председатель жэка, на участке которого трубы лопались, как мыльные пузыри, растерянно почесал затылок:

— А хрен его знает, как эту штуку сочинять: напишешь хорошо — наши не захотят выпустить, напишешь плохо — там не примут.

И перепоручил это общему собранию жильцов.

Собрание было долгим и бурным.

— Вот! — потрясал Мефиль свежей газетой. — Тут как раз про таких написано: предатели и приспособленцы!

— Они же к Марине едут. Она там одна, — заступился Ванечка.

— Сама виновата! — заявила председательствующая Гинзбург. — Попала под влияние сионистов, которые хотят расколоть наш многонациональный блок!

— Они хотя и евреи, но люди хорошие — окурки из окна не выбрасывают, — изрек дворник Харитон. А его огромная добрая жена, вся состоящая из пышных полушарий, даже прослезилась:

— Может, их, по ихней природе, тянет в теплые края, как журавликов.

— Их женщин я не уважаю — ревнивые и скандальные, а мужчины бывают даже очень неплохие, — авторитетно заявила Муська, перерзевшая девица с подвижным задом. Каждую ночь она приводила к себе очередного кавалера и, в любовных антрактах, используя постель, как трибуну, призывала узаконить платную любовь.

— Им можно ездить, а другим нельзя, да? — выкрикнула Галка-дебилка.

— У них все плёмя такое бродячее.

— За границей любят наших женщин — баба Маня еще сможет выйти замуж, — включилась Виточка и тем самым вызвала огонь на себя.

— А у тебя самой дед был немцем, мне паспортистка сообщила! — снова выкрикнула Галка. — Еще надо проверить, зачем тебя к нам подослали — что-то у тебя лифт часто портится!

Но Виточка не обиделась.

— Что вы, Галочка, какая я немка — я Германию в глаза не видела. У меня даже ни одного любовника-немца не было!.. Раз я родилась и живу на Украине — я украинка. И вы украинцы, — сообщила она братьям Кастропуло. — Ведь вы же тоже здесь родились.

— Половина Одессы ходит в ваших пиджаках, — похвастался младший брат.

— Они специально советских людей уродуют, — разоблачил братьев Галкин муж Митя-самогонщик.

— Митя, пить вредно, — предупредил его мусью Грабовский, который снова недавно подшился.

— А некоторые, которые не из русских, — парировал Митя, — потому заступаются, что сами намылились не прочь.

Мефиль, который час назад вместе с Митей опробовал его продукцию, рывком расслабил ненавистный галстук и попер на братьев Кастропуло:

— А вы почему не едете в свою Грецию?.. Шили бы там костюмы для миллионёров!

Братья оскорбились. Старший подскочил к обидчику и выкрикнул:

— Мы бы уехали, но боимся оставить страну на таких придурков, как ты и Митя!

Собрание явно пошло не в ту сторону. Назревал скандал. И тогда вмешался Моряк.

— Команда, смирно! — гаркнул он, и сразу стало тихо. — Я сперва не хотел вмешиваться, но не удержался — моя тельняшка стала краснеть от стыда. Разве мы бабе Мане характеристику выдаем? Мы сейчас на себя характеристику сочиняем, и, признаюсь, эта характеристика меня очень огорчила. Столько лет вместе на одной палубе, и бури, и штормы выдерживали, а тут... — Он грустно развел руками. — Чего только не говорили: и бегство, и предательство, и перерождение... А главное-то слово и не нашли — это же беда, наша, общая! Их беда, что они нас теряют, и наша беда, что они из русской земли себя с корнем выдергивают. Думаете, это легко? Ой, нет! Запросто на такое не пойдешь... Поэтому хочу кое-кого предупредить: если из вас мразь поперла, то просьба заткнуть фонтан, потому что нам будет трудно жить вместе с теми, кто перемажется в дерьме!..

Это был холодный душ, который сразу остудил и пристыдил. Несколько секунд все молчали.

— За какую резолюцию голосовать? — растерянно спросила Гинзбург.

— Не надо резолюций. Надо просто пожелать бабе Мане семь футов под килем. Отговаривать мы ее не будем — взрослый человек, сам знает, что делает. — Моряк повернулся к Мане, которая сидела в своей комнате у окна и, как из ложи, наблюдала за происходящим. — Счастливого вам доплыть до своей гавани и стать на якорь. А мы вас будем долго-долго помнить и грустить. Ведь наш двор без вас, как корабль без боцмана.

— Ай, бросьте! — сказала растроганная баба Маня и расплакалась.

— Мы дадим ей положительную характеристику, но с отрицательным отношением, — подвела итог старуха Гинзбург, и все проголосовало за эту странную резолюцию.

А Тэза готовилась к отъезду: собирала справки, гладила одежду, добывала в магазинах картонные ящики от продуктов и паковала в них книги и посуду.

Баба Маня каждое утро, как на работу, ходила в ОВИР, крутилась там и, возвращаясь, сообщала дочери все новости, связанные с «отъездной» темой.

— Нужна еще одна справка о том, что мы не брали напрокат телевизор.

— Я уже принесла такую справку.

— То про черно-белый, а теперь нужно про цветной.

— Но у нас в прокате еще нет цветных телевизоров, — удивлялась Тэза.

— Телевизоров нет, а справки есть. Надо получить.

Однажды она прибежала в страшной панике.

— Говорят, что они забирают ордена. Свой я им отдам только вместе с жизнью!

Баба Маня во время войны давала кровь для раненых, получила значок отличного донора, страшно им гордилась и называла его орденом.

Новый день — новое сообщение.

— В Чопе носильщики берут десять рублей за место.

— Сами понесем, — успокоила ее Тэза.

— Нельзя! Таможенники принимают багаж только от носильщиков! А проводники и начальник поезда требуют по пятьдесят рублей с каждого купе.

— А они за что?

— За то, что открывают в вагонах окна. В Чопе поезд мало стоит, в проходе давка — вещи выбрасывают через окна. Если их не откроют, не успеешь разгрузиться.

— Значит, возьмем поменьше вещей.

— А ценности вообще вывозить запрещено!

— Чего ты волнуешься? Твои ценности у тебя не отберут.

— А кораллы?

— Кораллы разрешено провозить.

— А!.. Я им не верю!

Ее ценностями было бабушкино ожерелье из кораллов, еще до войны завешанное Марине, и десятка два недорогих брошек, которые она собирала всю жизнь. Все богатство хранилось в запертом ящике буфета, периодически проверялось и снова запиралось на два поворота ключом. Тревожась, что это не пропустят, баба Маня приняла предупредительные меры: обшила кораллами подол своего выходного платья, воротничок, рукава и карманы. Брошки прикрепила в виде пуговиц, все, сверху донизу. Платье превратилось в кольчугу, и стало таким тяжелым, что когда она его примерила, у нее подогнулись ноги.

Накануне отъезда Тэза устроила прощальный ужин.

Мебель уже вывезли, поэтому сидели на узлах и на ящиках. На трех сдвинутых чемоданах стояли еда и бутылки. Пили водку, закусывали форшмаком — фирменным блюдом бабы Мани.

Моряк принес две банки черной икры.

— Там это товар.

Ванечка притащил в подарок отремонтированный им трансформатор:

— Неизвестно, какое там напряжение.

Броня шептала Тэзе:

— Если встретите Диму, передайте, что я живу как барыня: убираю восемь подъездов, зарабатываю больше двухсот рублей. В жэке меня повесили на Доску почета. Может, он вернется?..

Во время прощания обычно пьют за предстоящие встречи. А здесь встреч не предвиделось. Прощались навсегда, поэтому в основном молчали, как в комнате, где покойник.

Потом баба Маня вручила каждому на память часы из дедового наследства, торжественно объявляя название фирмы и стоимость.

К концу ужина Моряк сообщил:

— Мы тут недавно посоветались и приняли решение: Лешину могилу берем под свой контроль, будем по очереди досматривать — помыть, подкрасить, цветочки посадить...

Тэза поднялась с рюмкой в руке.

— Спасибо вам за то, что вы хорошие люди... Спасибо за прожитую вместе жизнь... Спасибо... — Водка расплескалась. В горле стоял комок, который она никак не могла проглотить. Понимая ее состояние, Моряк заторопился:

— А теперь споем! Все вместе!

Мэри Алая качнула бюстом и запела. Мусью Грабовский аккомпанировал ей на гитаре.

— Эх, загулял, загулял, загулял

Парень молодой, молодой...

— В красной рубашоночке... — нестройно подхватили остальные.

Броня плакала.

Утром прибыл заказанный автофургон. Началась погрузка. Мужчины выносили тяжелые вещи, женщины — те, что полегче. Баба Маня вытаскивала перетянутый веревками тюк, из которого сочились перья.

— Я хочу умереть на своей подушке.

Только Тэза сидела на скамейке под своим окном, далекая и безучастная, будто все это происходило не здесь и не с ней.

Шофер посигналил, давая понять, что погрузка закончилась.

— Посидим перед отплытием, — предложил Моряк.

Все присели, кто на скамейку, кто на ступеньки парадного, кто просто на корточки. Несколько секунд прощально помолчали.

Снова просигналил шофер. Тэза продолжала сидеть без движения.

Моряк подошел и положил ей на плечо свою квадратную ладонь, на которой синей тушью было вытатуировано «Не забуду мать родную».

— Вас никто не осудит: живые тянутся к живым.

— Мертвые сильнее живых, — тихо произнесла Тэза.

Призывно сигналил шофер.

Глядя сквозь открытое окно на разоренную квартиру, Броня растерянно произнесла:

— Ведь вас уже выписали.

Баба Маня продолжала сидеть, обнимая свою любимую подушку.

— А вы что скажете? — обратился к ней один из братьев Кастропуло.

И она произнесла в ответ ту единственную фразу, которую выучила за все эти месяцы:

— Май нейм из Маня.

НОВЫЙ ПЕРЕХОД

На нашей улице строили подземный переход. Всю улицу перерыли. Троллейбус в сторону отвели.

Наконец закончили и сдали комиссии. Устроили торжественное открытие. Оркестр пригласили. Ленточку у входа натянули.

И тут вдруг выяснилось, что выхода из-под земли нет, забыли сделать: очень торопились сдать объект досрочно.

Ну, комиссия, конечно, строителей пожурела, но не лишать же весь коллектив премии. Да и опять же — оркестр уже приглашен, ленточка натянута. Решили торжества на омрачать, переход принять, а отсутствующий выход внести в акт недоделок.

Оркестр грянул марш, ленточку перерезали, и народ хлынул вниз, в переход.

Правда, нашли нытики, которые не хотели акт подписывать: мол, как же так — переход без выхода. Но председатель комиссии дал им достойную отповедь:

— Вы что, в инициативу наших людей не верите?.. Если понадобится — найдут выход!..

Переход этот по сей день работает. Тысячи людей туда входят и, представьте себе, как-то выходят. Так что председатель комиссии оказался прав: надо верить в творческую инициативу!

СОДЕРЖАНИЕ

Тэза с нашего двора	3
Новый переход	46

КАНЕВСКИЙ Александр Семенович

ТЭЗА С НАШЕГО ДВОРА

Повесть

Редактор М. М. Ж и г а л о в а

Технический редактор Т. Я. К о в ы н ч е н к о в а

Сдано в набор 26.12.88. Подписано к печати 6.03.89. А 08832. Формат 70 × 108¹/₃₂. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд». Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Усл. кр.-отт. 2,28. Уч.-изд. л. 3,25.

Тираж 150 000 экз. Заказ № 21. Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

АВТОМАГНИТОЛА «ГРОДНО-208 СТЕРЕО»

Эта автомобильная стереофоническая кассетная магнитола предназначена для установки в салонах легковых автомобилей «Волга», «Жигули», «Москвич». Она обеспечивает устойчивый прием радиопередач в диапазонах ДВ, СВ, УКВ, а также воспроизведение магнитозаписи.

В комплект магнитолы входят также два громкоговорителя, кассета с фонограммой.

Цена — 360 руб.

ЦКРО «Радиотехника»